

Макс Фраў

# Макс Фрай

Сказки старого Вильнюса

1 том

УДК 882  
ББК 84Р7  
Ф 82

В оформлении книги использованы  
фотографии автора

*Защиту интеллектуальной собственности и прав  
издательской группы «Амфора» осуществляет  
юридическая компания «Усков и Партнеры»*



**Фрай М.**

Ф 82 Сказки старого Вильнюса : [рассказы]/ Макс Фрай. —  
СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 2012. — Том 1. — 384 с.

ISBN 978-5-367-02220-9

????????????????????

УДК 882  
ББК 84Р7

© Макс Фрай, 2012  
© Оформление.  
ЗАО ТИД «Амфора», 2012

ISBN 978-5-367-02220-9

## Содержание

Улица Ашмянос (Ašmenos g.) На сдачу . . . . . 7	Улица Кривю (Kriviu g.) Халва в шоколаде . . . . 185
Улица Басанавичяус (J. Basanavičiaus g.) Шесть комнат . . . . . 17	Улица Лапу (Lapu g.) Много прекрасных дорог . . . . . 213
Улица Беатричес (Beatričės g.) Белый человек . . . . . 43	Улица Латако (Latako g.) ...вымышленных существ . . . . . 227
Улица Вису Швентую (Visų Šventųjų g.) Все святые . . . . . 59	Улица Пилес (Pilies g.) Пингвин и единорог . . . 237
Улица Вокечю (Vokiečių g.) До луны и обратно . . . 73	Улица Пилимо (Pylimo g.) Полиция города Вильнюса . . . . 245
Улица Гаоно (Gaono g.) Спящие полицейские . . . 91	Улица Руднинку (Rūdninkų g.) Ловец снов . . . . . 261
Проспект Гедиминаса (Gedimino pr.) Совершенно черный кот . . . . . 103	Улица Стиклию (Stiklių g.) Карлсон, который . . . . 275
Улица Даукшос (M. Daukšos g.) Черные и красные, желтые и синие . . . . . 113	Улица Траку (Trakų g.) Солнечный кофе . . . . 311
Улица Диджои (Didžioji g.) Испорченный телефон . . . . . 127	Улица Ужупё (Užupio g.) Мартовские игры . . . . 333
Улица Жемайтийос (Žemaitijos g.) Начальный уровень . . 143	Улица Чюрлёнё (M. Čurlionio g.) Чертов перец . . . . . 341
Улица Калинауско (K. Kalinausko g.) Ну, например . . . . . 153	Улица Швенто Игното (Šv. Ignoto g.) Четыре слога . . . . . 357
Улица Кранто (Krantų g.) Сделай сам . . . . . 167	Улица Швенто Йоно (Šv. Jono g.) Фонарщик . . . . . 371

# Улица Ашмянос

Ašmenos g.



## На сдачу

— ...и еще акрил в больших банках, — говорит ненасытный Тони, — да-да, все цвета, кроме краплака. И кисти. Нет, не эти, а вон те. Первый, второй, третий и нулевку. И может быть... да, вот такой мастихин. И еще такой. А это у нас что вон на той полке?..

Пока мы пакуем добычу в рюкзаки, маленькая седая продавщица суетливо роется в кассе, как птица в кормушке, ищет там сдачу с Тониной двухсотлитовой купюры.

— Мелочи совсем нет, — наконец вздыхает она. — Может быть, возьмете на сдачу?

Кладет на прилавок коробку с цветными мелками. Не пастельными, не восковыми даже, а обычными, которые только и годятся на школьной доске рисовать. И конечно, на асфальте.

Мне не до мелков, я пытаюсь застегнуть рюкзак, а Тони рассеянно сует коробку в карман. Продавщица, убедившись, что проблема со сдачей улажена, расплывается в улыбке.

— Вот и хорошо, — говорит она нам вслед. — Детям подарите, пусть рисуют.

Ни у Тони, ни у меня нет детей. Но эту информацию мы оставляем при себе, чтобы не разочаровывать маленькую седую птичку.

За порогом сияют целых два солнца — небесное и его отражение в серебристо-синей луже, разлившейся на всю проезжую часть. И дует ветер, по-весеннему теплый и такой сильный, что мы сразу же оставляем попытки самостоятельно выбрать дальнейший маршрут и разворачиваемся так, чтобы он дул нам в спину.

— Солнечный ветер, — говорит Тони. И щурится, как довольный кот.

Мы сворачиваем за угол, на улицу Ашмянос, а там, гляди-ка, почти никакого ветра. И мы, конечно, сразу же вспоминаем, что давным-давно хотели покурить. Еще до того, как зашли в лавку. А уж теперь-то как хотим, слов нет.

Тони возится с машинкой для набивки сигарет и трепетными пустыми гильзами, а я слоняюсь вокруг, всем своим видом изображая моральную поддержку. И конечно, глазею по сторонам, по старой привычке кадрю окружающий мир — клац, клац, клац.

— Смотри, — говорю, принимая из Тониных рук сигарету, — кому-то явно не дали поиграть в «классики».

— Дорисовать — и то не дали, — кивает он.

Тротуар и правда расчерчен на квадраты, а вписать в них соответствующие цифры неведомый художник уже не успел. То ли обедать позвали, то ли просто дали по ушам за порчу общественного асфальта.

Зато нам, счастливым великовозрастным дуракам, закон не писан. Нас уже давно никто не зовет обедать. И по ушам нам не очень-то надаешь, до них сперва еще поди допрыгни.

Опьянев от внезапно (лет тридцать назад) наступившей и все еще восхитительной вседозволенности, солнечного ветра, табачного дыма и тяжести набитого красками рюкзака, я вытаскиваю из Тониного кармана коробку с мелками, сажусь на корточки возле первой клетки, намереваясь написать там большую цифру 1. Ярко-синюю, как небо в лужах под нашими ногами, или желтую, как веселое весеннее солнце, или зеленую, как будущая, невидимая пока листва, или красную, как Тонина старая куртка. Но, взяв в руки мелок, тут же забываю о первоначальном замысле и зачем-то закрашиваю синим всю клетку. Не удовлетворившись достигнутым, вытряхиваю из коробки остальные мелки и начинаю рисовать рыб. Потому что синяя клетка — это, конечно же, море. Судя по яркой окраске рыб, Красное. Например. Впрочем, несколько минут спустя рыбы мои принимают очертания столь причудливые, что море теперь явно придется передать в дар инопланетянам. Пусть они с этими рыбами договариваются о совместном существовании. Потому что человечество в моем лице — пас.

— Ух ты, — говорит Тони.

Он уже выбросил докуренную сигарету и рвется в бой. Ему только повод дай.

Вторую клетку Тони уверенно штрихует зеленым и синим, и мне заранее ясно, что это будет Венеция, на

которой он совершенно помешан, вот и разноцветные дома поднимаются из воды, но вместо гондол и моторных лодок пейзаж внезапно заполняется крылатыми существами, похожими одновременно на людей и на лис.

— Матерь божья, это кто такие? — изумленно спрашиваю я.

Тони смеется:

— Понятия не имею. Сами пришли и захотели быть. Мое дело маленькое.

— Ладно, пусть тогда мои рыбы живут в их воде, — говорю я. — Они, по-моему, друг другу подходят.

— Вполне, — соглашается Тони, переставляя коробку с мелками так, чтобы мне тоже было удобно их брать.

Третью и четвертую клетки мы зарисовываем одновременно, можно сказать наперегонки. Тони, конечно, выходит победителем — все-таки профессионал. Поднимается, разгибает спину, потягивается, с явным удовольствием разглядывает результат.

— Ух ты! А у тебя это что? — спрашивает он.

— Наверное, карта города, — неуверенно говорю я, откладывая в сторону фиолетовый мелок. — Ну точно, карта. Такая, знаешь, схема маршрутов для туристов. Ее каждый день рисуют на городской стене. А ночью идет дождь и смывает рисунок. Поэтому по утрам приходит дежурный художник и рисует новую карту. Он, конечно, не очень-то помнит, что было на вчерашнем рисунке, да и не старается вспомнить, а просто



чертит как бог на душу положит. Но туристы все равно могут ею пользоваться: пока художник рисует новую карту, город меняется в полном соответствии с ней.

— Тогда художников должно быть двое, — говорит Тони. — Во-первых, нельзя человеку работать без выходов. А во-вторых, так еще больше перемен и путаницы. И все довольны.

Его картинка в четвертой клетке полностью соответствует этому утверждению. На ней два чрезвычайно довольных крылатых человека-лисы, немного — насколько это возможно с их лисьими мордами — похожие на нас, парят над своим городом-озером с большими красными кружками в руках.

— Они наверняка пьют кофе, — говорю я.

— Конечно. Как бы ты ни выглядел и где бы ни жил, а без кофе никак нельзя.

Мы бы тоже могли сейчас отправиться пить кофе — собственно, мы и собирались, — но вместо этого Тони начинает сворачивать очередную сигарету, а я — разрисовывать пятую по счету клетку. Совершенно невозможно остановиться.

— Что это? — спрашивает Тони. — Очень красиво, но ни черта не понятно.

— Наверное, — говорю я, — это такая книга. Вернее, то, что у них вместо книг. Когда постоянно летаешь над водой, очень здорово, если в ней отражаются всякие интересные штуки. Например, книжки с картинками, которые в такой непростой ситуации лучше сразу писать

на облаках. Причем в зеркальном виде. Чтобы отражались уже как надо.

— Ладно, — кивает Тони. Отдает мне сигарету, отбирает мелки и, пока я перевожу дух, быстро-быстро рисует в шестой клетке летающих писателей, старательно покрывающих облака письменами.

— Ага, именно так они и работают, — киваю я.

И принимаюсь за седьмую клетку, а Тони достается восьмая.

Я рисую потоки разноцветного ветра над густой чернотой прибрежных плодовых садов, а Тони корпит над главной площадью, где высажены подводные деревья, настолько высокие, что в их поднявшихся над поверхностью озера ветвях могут отдохнуть усталые летуны.

В девятой клетке я рисую мост, но не между берегами, а между землей и небом. В точности как Старый Лондонский мост, он застроен домами, по крайней мере на обозримом участке, а что делается выше, за облаками, я не знаю. Куда уж мне.

Тони еще рисует, поэтому сигареты для нас сворачиваю я. Закончив последнюю, десятую клетку, он берет у меня самокрутку и, забыв прикурить, замирает, уставившись в небо. А я озадаченно разглядываю его картинку. Наконец спрашиваю:

— Слушай, а что это?

— Наверное, карта, — улыбается Тони. — Но не города, как у тебя была. А как туда добраться. В смысле отсюда. Ну, если вдруг приспичит. Мало ли что.

— Ого, — говорю я, всматриваясь в рисунок. И повторяю: — Ого.

А что тут еще скажешь.

Мы сидим прямо на бордюре и курим. Нам, по правде говоря, довольно зябко, потому что наш приятель ветер снова тут как тут. Пока мы рисовали, он отдохнул и теперь готов дуть сколько угодно.

Нам, если по уму, следовало бы оторвать задницы от холодного тротуара и бегом бежать в ближайшую кофейню или сразу домой. Но мы так устали, что пока можем только курить на ледяном солнечном ветру и блаженно улыбаться, глаза на причудливое дело своих рук.

Из соседнего двора выходит девочка лет семи. Рыжая девочка в старом красном пальто, достаточно пухлая, чтобы заслужить во дворе прозвище «бомба» или что-то в таком роде. У девочки коса до пояса, круглые зеленые глаза, упрямый лоб и такой волевой подбородок, что не хотелось бы мне оказаться на месте ее гипотетических обидчиков. В левой руке у девочки серая вязаная шапка, которую она только что сняла с растрепанной своей головы, в правой — круглая плоская белая коробочка, которую вполне можно использовать как биту. На лице у девочки крупными буквами написано неслышимое намерение немедленно поиграть в «классики», которые она сама так старательно чертила перед обедом, чтобы были только ее, чтобы никто не мешал прыгать и не смеялся над промахами.

Увидев наши с Тони рисунки, девочка изумленно замирает. Секунд на пять, не больше. Потом кладет биту на первую клетку, прямо на голову одной из моих рыб. И начинает прыгать.

Девочка прыгает очень аккуратно. Подолгу стоит в каждой клетке, примеряясь к следующему прыжку. Она старается — не то по возможности сохранить картинку, не то просто добиться идеальной точности движений. Ей, похоже, вполне удастся и то и другое.

Добравшись до девятой клетки, девочка замирает и внимательно разглядывает десятую. Наконец, вместо того чтобы прыгать, носком цветастого резинового сапога осторожно подталкивает биту к границе между клетками.

Вот бита уже подползла к меловой черте. И потихоньку двинулась дальше. Вот... Черт, да где же она?

Толстая девочка в красном пальто стоит в девятой клетке, на моем мосту между землей и небом. И озадаченно разглядывает десятую, в которой нет ничего, кроме Тониного рисунка. Белая плоская коробочка никак не могла потеряться на его фоне. Тем не менее ее там нет.

Девочка роняет на землю свою серую шапку. Машинально сует в рот кончик длинной косы. Думает. Садится на корточки, внимательно смотрит на картинку. Осторожно трогает ее рукой. Наконец поднимается и делает шаг вперед.

Мы с Тони глядим на нее как замороженные.





## Улица Басанавичяус

J. Basanavičiaus g.

### Шесть комнат

*Шесть отдельных комнат, одна из них угловая, с двумя окнами — на север и на восток. Две — просто на север, три — на юг, одна из южных — с балконом. И ни одного окна на запад, так почему-то получилось.*

Не слишком много жилищ успел сменить за сорок с лишним лет; были еще, конечно, гостиницы, десятки почти одинаковых чистеньких спален, но они не в счет. Поэтому — всего шесть комнат.

Не раз спрашивал себя, откуда вообще взялась эта идея. Где-то вычитал? Слышал краем уха? Приснилось? Видел в кино? Наконец вспомнил: да сам же и придумал, давным-давно, когда давал первое в жизни интервью. Ну, строго говоря, второе, но, поскольку дал их в тот день чуть ли не дюжину, одно за другим, так и не выпустив из рук чашку с остывшим кофе, за которую держался, как за спасательный круг, можно считать, что все это было одно почти бесконечное первое в жизни интервью. Журналистов интересовало мнение юного автора лучшего архитектурного проекта года практически по всем

вопросам, включая грядущие парламентские выборы и очередной конец света, твердо обещанный всем заинтересованным лицам уже в августе. А свежеиспеченная знаменитость думала только об одном: главное, не ляпнуть сейчас прилюдно, что идея участвовать в конкурсе и сам проект были просто слишком далеко зашедшей шуткой. Подобные признания нельзя делать ни в коем случае. Особенно когда они правдивы.

Отвечать на бессмысленные вопросы поначалу было забавно, но через четверть часа надоело, и тут милая девушка в голубой вязаной шапочке вдруг спросила: «А какой идеальный дом вы бы построили для себя?» Из-под шапочки выбивались каштановые локоны; девушка была чертовски хороша, из числа тех, кому хочется понравиться, даже если не планируешь продолжить знакомство, а вопрос, хоть и банальный, давал возможность распустить хвост. Принялся вдохновенно рассуждать: дескать, непосредственно к архитектуре и дизайну интерьера это вообще никакого отношения не имеет, потому что идеальный дом для человека — это дом его детства. Впрочем, почему только детства? Идеальный дом — это сумма всех комнат, где тебе хорошо жилось. Тут же подсчитал: на сегодняшний день в моем идеальном доме было бы всего три очень скромно обставленные комнаты, но это, конечно, просто вопрос времени.

Время добавило к трем комнатам еще три, обставленные много лучше. То есть не как попало, а соответственно вкусу и необходимости. В сумме вышло *шесть отдельных комнат, одна из них угловая, с двумя окнами* —

*на север и на восток. Две — просто на север, три — на юг, одна из южных — с балконом.*

Но тогда это, конечно, была просто досужая болтовня, предназначенная симпатичной шатенке в голубой шапочке. В голову не пришло бы затевать что-то подобное. Разве что по просьбе заказчика, но где такого найдешь.

Однажды, давно, кажется еще до премии за лучший проект и увлекательных перемен, которые за нею воследовали, приятели завели разговор: кто чем стал бы заниматься, если бы внезапно, без усилий разбогател? Выигрыш в лотерею, клад, наследство, бесхозный чемодан с купюрами в лифте, душевная дружба с горными гномами — неважно. Чем бы занялся, если бы отпала необходимость зарабатывать, — вот вопрос! Сказал тогда, не задумываясь: да все тем же и занимался бы, только работать пришлось бы гораздо больше, потому что на самые интересные проекты вечно не найти денег, а если бы они у меня были — о-о-о, тогда...

«Выходит, ты очень счастливый человек», — изумился кто-то из приятелей. Пожал плечами: «Да, наверное». Никогда не задумывался, счастлив или нет. «Счастливый» — это просто слово, поди угадай, каким значением наделил его говорящий. С остальными словами, впрочем, та же беда. То ли дело стены, крыша, окна, двери, лестницы, пол, фасад, коммуникации, фундамент. Дом.

Очень любил дома. Всегда. С детства.

И женился-то, строго говоря, на доме. У Анны были великолепные ноги, зеленые глаза и живой насмешливый ум, но, самое главное, у нее был очень большой, старый, от деда унаследованный дом, отчаянно нуждавшийся в перестройке, и перспектива стать его хозяином оказалась настолько соблазнительной, что Анне пришлось принять поспешно предложенные руку и сердце; позже она с удивлением вспоминала, что была не так уж влюблена, да и замуж особо не спешила, просто не смогла устоять перед столь сокрушительным напором.

Когда перед самой свадьбой внезапно выяснилось, что Анна гораздо богаче, чем можно было предположить, обрадовался: это означало, что денег на перестройку общего теперя дома хватит в любом случае, какие бы неприятные сюрпризы ни вылезли наружу в ходе работы. Иных корыстных соображений не возникло. Всегда считал, что бедность — это когда не хватает денег на текущий проект; богатство же представлялось восхитительной возможностью увеличивать смету по мере необходимости.

К тому времени, как почти пятилетняя работа над домом подошла к концу, Анна окончательно решила, что им следует *какое-то время* пожить врозь. И столь деликатно сформулировала свое предложение, что оно не вызвало внутреннего протеста, только практический вопрос: «какое-то время» — это сколько? Лет двадцать-тридцать-сорок? Так и думал.

Ладно, врозь так врозь. Детей нет, коту все равно, а дом уже приведен в безупречное состояние.

Можно было бы сказать: «Расстались друзьями», но оба не умели дружить. Поэтому расстались приятелями. Разводиться поленились, отложили неприятные хлопоты на потом. На «какое-то время», что бы это ни означало.

А несколько лет спустя Анна умерла, и это оказалось не то чтобы печально, а просто нелепо. Дико, неправдоподобно. Анна — и вдруг умерла. Не говорите глупости. Так не бывает. Кто угодно, только не Анна. Плохо вы ее знаете.

Так и сказал, когда позвонили, чтобы сообщить дату и место похорон. И продолжал говорить, положив трубку, спорил с незримым, непостижимым и неопределенным собеседником, который лишь снисходительно посмеивался в ответ — свой единственный, но сокрушительный козырь он уже выложил.

И потом еще долго думал — это какая-то ошибка. Или дурацкий розыгрыш. Вообще-то, Анна никогда так глупо не шутила, но у всех бывают минуты слабости. И чего только мы в такие минуты не творим.

На похороны, впрочем, поехал. Но это ничего не изменило.

Когда выяснил, что стал не только вдовцом, но и богатым наследником, почти рассердился. Завещание она, видите ли, написала. Оставила мужу почти все, кроме дома, который отошел к двоюродной тетке; кто бы мог подумать, что Анна настолько ревнива. Вот тебе куча денег, дорогой, но дом, который любил вместо того, чтобы

любить меня, ты не получишь — съел? И ни письма, ни даже короткой прощальной записки. Живи теперь как дурак, не поговорив напоследок, чего-то очень важного не узнав и не поняв — об Анне, о себе и, наверное, о жизни.

Думал: удивительное дело, столько времени обходился двумя-тремя свиданиями в год и совершенно не скучал без нее в промежутках, а теперь, когда Анна умерла, мир вдруг опустел и утратил — не весь смысл, конечно, но очень важную его часть. И при чем тут какие-то дурацкие деньги.

Деньги, однако, от подобных размышлений никуда не делись. Преспокойно лежали на счету, ждали своего часа. Тратить их не хотелось. И вообще ничего. Даже работал вполсилы, скорее по инерции, а это уже ни в какие ворота. Сам не знал, почему так стало. «Кризис среднего возраста», — понимающе говорили знакомые и давали телефоны хороших, проверенных психотерапевтов. Несколько раз даже сходил, скорее из любопытства, чем в надежде получить помощь. Все психотерапевты как один оказались милыми людьми, с такими, наверное, приятно дружить, встречаться раз в неделю за бокалом вина, смотреть кино, сплетничать о знакомых, советовать о житейских делах, обсуждать прочитанные книги, несколько раз вместе съездить в отпуск, в складчину арендовать просторный дом у моря, по очереди вести автомобиль, приветливо здороваться по утрам на общей кухне, снисходительно прощать внезапно проявившиеся дурацкие привычки, не раздражаться, не раздражать.

Однако вернуть не то утраченный, не то с самого начала отсутствовавший смысл эти люди явно не могли. Разве только научить без него обходиться. А это — не вариант.

Думал: моя жизнь оказалась похожа на лето, проведенное в городе, когда работы по уши, и вечеринки чуть ли не каждую ночь, и, предположим, еще кинофестиваль, который нельзя пропустить, и длинноногие девушки на верандах уличных кафе совсем не прочь познакомиться, и кружишься в этом веселом вихре, самоуверенно полагая, что ты сам и есть вихрь, а потом оказывается, что август уже на исходе, ночи стали длинными и холодными, а подоконник усыпан опавшими с неба сухими колючими звездами. И все бы ничего, но вдруг вспоминаешь, что ни разу не выбрался на рынок за спелыми вишнями, даже в соседском саду ни одной не сорвал, хотя каждый день ходил мимо. И вроде понимаешь, что ерунда, вишня — это просто вишня, кислая сладкая сезонная ягода, обычная еда, что за блажь, но обидно до слез, потому что если не было вишен, значит, и лета толком не было, у всех вокруг было, а у тебя — нет, и в предпоследний день августа это уже не исправить, время немилосердно, проехали, баста.

Думал: время немилосердно, с самого первого дня оно начинает перемалывать нас в своих жерновах и уже никогда не останавливается. Поначалу действует осторожно, старается не беспокоить, но в какой-то момент дает себе волю, несется во весь опор — чего церемониться, все равно никуда не денетесь, привыкайте, теперь всегда

будет так. И когда хруст костей в его жерновах становится настолько громок, что собственного голоса уже не слышишь, это называют «кризисом среднего возраста» и дают тебе телефоны *специалистов*. Обычных людей, как и ты, уже перемолотых в пыль больше чем наполовину, чем они могут помочь. Лучшее, что можно сделать в такой момент, — найти какое-нибудь захватывающее занятие, чтобы *отвлечься* от невыносимого, которое нельзя прекратить.

Думал: а ведь у меня такое занятие есть. Всегда было. Прежде я за работой не только о времени, о самом себе забывал. А теперь она, выходит, приелась? Ну уж нет, так не пойдет.

Стал перебирать нереализованные старые задумки. Те, под которые так и не удалось найти заказчика. Самые, ясное дело, лучшие. Но особого энтузиазма не вызывали и они. И вдруг вспомнил: идеальный дом как сумма комнат, где человеку хорошо жилось. Смешная идея. Слишком простая концепция, слишком сложная реализация, да и кому это нужно. Совершенно не представляю такого заказчика. Кто этот псих, что творится у него в голове?

Внезапно ухмыльнулся: да это же я сам и есть. Приятно познакомиться, поздравляю с отличным контрактом. Вменяемый, покладистый, богатый заказчик, который точно знает, чего хочет, где еще такого найдешь. Ну-ка, ну-ка, сколько комнат у нас наберется?

Составил список. Комната в родительском доме, где жил с раннего детства до окончания школы. Комната в большой холодной квартире, которую снимал студен-

том в складчину с еще тремя товарищами. Маленькая квартирка-студия в мансарде, где поселился, как только получил первую в жизни работу. Другая студия, больше и гораздо дороже, типичная «стильная квартира преуспевающего холостяка» из глянцевого журнала, куда переехал, когда дела пошли в гору. Кабинет в Аннином доме, любовно доведенный до абсолютного совершенства за несколько дней до того, как пришлось навсегда оттуда уехать. Наконец, нынешнее жилье, тщательно продуманное и обустроенное, идеальное рабочее место, увы, не прибавляющее вдохновения, зато мгновенно приводящее в порядок голову, в сколь бы прискорбном состоянии ума туда ни вошел, а это уже немало.

Подумал: надо же, получается, я был вполне счастлив везде, где жил. Ладно, положим, «счастлив», «несчастлив» — не разговор, вряд ли хоть кто-то четко представляет, что это такое. Но у меня совершенно точно была очень хорошая жизнь, а я, дурак, не заметил. Ну хоть сейчас, задним числом, начал что-то понимать. Жаль, конечно, что прожить эти дни еще раз, теперь, когда я точно знаю, что они были прекрасны, мне никто не даст. Нечестно. Даже на экзаменах по вождению дают две попытки, а жить-то всяко сложнее, чем управлять автомобилем. И там, на небесах, должны бы это понимать.

Впрочем, ладно. Нет так нет.

Подвел черту: итого, *шесть отдельных комнат, одна из них угловая, с двумя окнами — на север и на восток. Две — просто на север, три — на юг, одна из южных —*

*с балконом. Ха! Пооди еще найди такое помещение. Совершенно нереальная задача.*

И наконец-то почувствовал настоящий азарт.

Теоретически, существовал очень простой выход: купить участок земли и построить дом с необходимым количеством комнат и окон. Но это казалось неправильным. Всю жизнь жил в больших городах, в многоквартирных домах, разве только Аннин дом стал исключением, но и он стоял на одной из центральных улиц, зажатый между стенами соседних зданий, и был столь велик, что, при желании, его можно было поделить между несколькими семьями.

Поразмыслив, решил все-таки искать подходящую квартиру. Шансы невелики, но тем лучше. Пусть будет что-то вроде лотереи. Найдется подходящее помещение — хорошо. Не найдется, значит, не буду этим заниматься. Придумаю что-нибудь еще.

Без Лайме, конечно, ничего бы не вышло.

Лайме был приятель настолько старинный, что ему уже давно следовало бы присвоить звание друга — за выслугу лет. Лайме был риелтор, да не простой, а золотой, в точности как яйцо сказочной курицы, и услуги его стоили соответственно.

Позвонил ему, сказал: нужна квартира. Обязательные требования: *шесть отдельных комнат, одна из них угловая, с двумя окнами — на север и на восток. Две — просто*

*на север, три — на юг, одна из южных — с балконом.* Подумав, добавил: и пусть будет последний этаж, всю жизнь жил на самом верху, привык, что между мною и небом — никого, глупо было бы это менять... В каком городе? А знаешь, почти все равно. Нет, на другой континент я ехать пока не готов. Где-нибудь в Европе, северной, или центральной, не люблю слишком жаркое лето. Начни со столиц и просто больших городов с аэропортами, чтобы ездить было удобно, у меня же вечно дела черт знает где.

Почти полгода спустя, когда уже начал подозревать, что всемогущий Лайме счел заказ мимолетным капризом, не стоящим времени и усилий, тот вдруг принялся регулярно названивать, предлагать варианты. Несколько совершенно негодных: то комнат всего пять, то, напротив, восемь, то одна из них окнами на запад, то все на север, то три балкона вместо одного, даже смотреть не имело смысла. И вдруг, как гром с ясного неба: похоже, в Вильнюсе есть ровно то, что ты ищешь. Правда, это не одна квартира, а три. Все на одном этаже, других соседей нет, общий коридор отделен от лестницы дверью. Хороший кирпичный дом, десять минут пешком до Старого города. Но учти, самая большая квартира в жутком состоянии, там, прикинь, три поколения алкоголиков уже не один десяток лет живут большой дружной семьей, даже канализацию до сих пор не провели, так и ходят в ведро, мой агент чуть в обморок не грохнулся, когда туда вошел, бедный мальчик; зато и продадут этот кошмар за гроши, им лишь бы поскорей, пока за долги не

выселили. Но владельцы однокомнатной, напротив, за-  
ломили совершенно несуразную цену, в Лондоне такую  
купить дешевле обойдется. Их соседи уже два года ищут  
покупателя, а эти вовсе не планировали съезжать, но ко-  
гда поняли, что нам очень надо, решили, что это шанс  
озолотиться. Ну, их право... Будешь смотреть? Все-таки  
Литва. Не самый край света, но ощутимый шаг в том на-  
правлении. Ты хоть примерно представляешь, где это?

Сказал: да. Очень хорошо представляю. Спросил:  
когда можно смотреть? И заказал билет.

Город оказался невелик — из аэропорта в центр ехали  
всего десять минут, подолгу простаивая на светофо-  
рах, — и неожиданно обаятелен. Мариус, местный агент  
Лайме, был обескураживающе юн и румян, через облач-  
ные прорехи на землю проливался чистый перламутро-  
вый свет, палисадники и балконы утопали в цветах, по  
улицам ходили девушки с прозрачными русалочьими  
глазами и вальяжные, сытые, ярко раскрашенные коты.

Свернули на улицу Басанавичяус, припарковались  
напротив старого кирпичного дома. Поднимаясь на  
третий этаж, почти оглох от грохота собственного  
сердца — так волновался. Вдруг страстно захотел, что-  
бы все получилось — не когда-нибудь, неведомо где,  
а здесь и сейчас, точка.

Внимательно осмотрел все три квартиры: трехкомнат-  
ную, двухкомнатную и просторную светлую студию, не-  
много похожую на его жилье эпохи знакомства с Анной.

В сумме — *шесть отдельных комнат, одна из них угло-  
вая, с двумя окнами — на север и на восток. Две — про-  
сто на север, три — на юг, одна из южных — с балконом.*  
Именно то, что надо.

Пока улаживали формальности с покупками, с утра  
до ночи шатался по городу, предполагая, что потом ста-  
нет не до прогулок. Очень уж много работы предстоит.  
Упоительной, захватывающей, тяжелой работы. Спаси-  
бо, Господи, какое счастье.

Поселился в маленькой гостинице по соседству со  
своим будущим домом; как только освободилась студия,  
переехал туда. Стал спать по двенадцать часов. Такие  
хорошие снились там сны, что бодрствовать, пока не  
началась работа, казалось расточительством. Но все же  
приходилось — хотя бы полдня. Впрочем, грех жало-  
ваться, бодрствующий человек хоть и скован по рукам  
и ногам цепями причинно-следственных связей, а все  
равно может спуститься вниз с холма в Старый город,  
дойти до места пересечения двух рек, большого Нериса  
и маленькой Вильняле, где, согласно легенде, когда-то  
переночевал князь Гедиминас, увидел во сне железного  
волка и так впечатлился, что начал строить город. Са-  
дился прямо в траву, смотрел на текущую воду, думал:  
пожалуй, я бы и сам построил тут город, если бы князь  
не опередил меня по волчьему наущению. И правильно  
сделал, хорошо у них с волком получилось, молодцы,  
что тут скажешь.

Часами бродил по Старому городу, разглядывал дома, хитростью проникал в запертые дворы и подъезды, смотрел, зарисовывал, запоминал. Втерся в доверие к студентам Художественной академии, нашел среди них знатока потаенных лазеек на городские крыши. Был благодарным экскурсантом, улыбчивым и молчаливым, гладил теплую от солнца старую черепицу, взирал на город с высоты воробьиного полета, обнимался с печными трубами, расчувствовавшись, шептал бесхозным котам: «Мы с тобой одной крови». Коты, похоже, опознавали цитату и снисходительно кивали в ответ. Думал — кому, как не мне, разгадать тайну обаяния этого города, вывести формулу его неброской, неочевидной, дурманящей кровь красоты? Но быстро понял: это никому, никогда не удастся. И мне тоже. Да будет так.

Подолгу сидел в кафе, покупал пряности и чай в лавках, ходил за медом и малиной на маленький, работающий только по четвергам рынок у реки. Стремительно обзаводился привычками и предпочтениями, обрастал вещами и знакомыми, *пускал корни*. Посмеивался над собой — ишь, спохватился, — но в глубине души был доволен.

Маленькая старушка на рынке шепотом предложила купить самодельные «туфли для сна» из мягкого войлока. Объяснила: у них на подошвах особые знаки, чтобы оставлять отчетливые следы в любом, самом смутном сновидении. Очень полезно для того, кто желает гарантированно проснуться в собственной постели, что бы ни приснилось. Подивился столь причудливой фанта-

зии, но туфли купил. Говорил себе, что просто захотел помочь старушке, поддержать ее удивительный бизнес. Однако спать без этих войлочных тапочек с того дня не ложился. Очень уж теплые оказались. Удачная покупка.

Когда впервые уехал из Вильнюса по делам, чувствовал себя так неприкаянно, что вернулся, как только позволили обстоятельства, то есть на три дня раньше намеченного срока, с лихвой переплатив за обмен билета, с двумя неудобными пересадками, в Вене и Риге, неважно, лишь бы скорее *домой*.

Домой. Ну надо же.

Наконец съехали последние жильцы. Можно было приниматься за работу.

Самое время. Сил вдруг стало столько, что ходил почти не касаясь земли, обгонял собственные отражения в витринах, а пустую кофейную чашку ставил на стол за несколько секунд до первого глотка. Рабочие, нанятые крушить старые стены и воздвигать новые, приближая размеры комнат к далеким образцам, утверждали, что босс обладает крайне неприятной для наемного люда способностью находиться в двух помещениях одновременно и при этом ясно видеть, что творится в третьем.

Сочувственно посмеивался, слушая их сетования, но спуску не давал никому. Себе — в первую очередь.

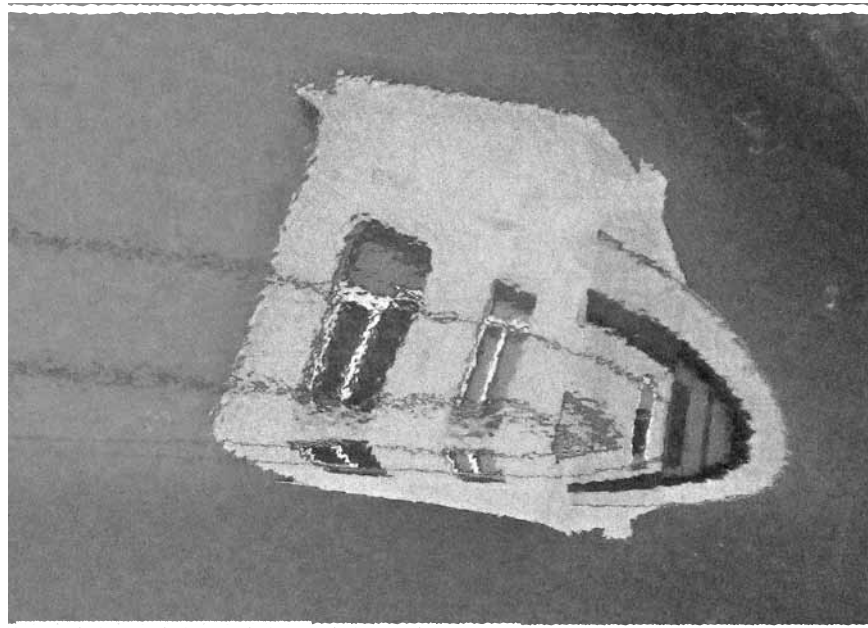


Как и предполагал с самого начала, труднее всего было с детской. Одни обои чего стоили.

Эти зеленые обои привез в подарок дядя из Германии. На обоях были нарисованы огромные мухоморы, переделанные в жилые дома — с дверями, окнами, печными трубами, торчащими из шляпок. Обитатели грибных жилищ — толстые ежи в атласных жилетах, ежихи в крахмальных передниках, солидные зайцы в сюртуках, зайчихи в легкомысленных чепцах с лентами, франтоватые божьи коровки в котелках и нескладные очкастые кузнечики — выглядывали из-за кружевных занавесок, курили трубки на крыльце, устраивали пикники во дворах и плясали на кривых тропинках среди гигантских ромашек. Поди отыщи такую красоту сорок лет спустя.

Долго надеялся на чудо, поставил на уши кучу знакомых из разных стран, но ничего похожего на обои с грибными домиками так и не нашел. Пришлось рисовать эскиз по памяти. Примерно через месяц стало получаться более-менее похоже, но все равно явственно не так — то ли цвета, то ли пропорции, то ли выражение заячьих физиономий. А скорее всего, все сразу.

Только и думал что об этих обоях. Каждый вечер перед сном, как бы ни устал за день, понемногу ковырял эскиз. Посмеиваясь над собой, сочинял шуточные проклятия покойному уже дяде — ну удружил ты племянничку своим подарком! Чтоб тебе теперь до Страшного суда с упитанными зайчихами плясать на лужайке. И после, согласно приговору. Райские кущи строгого режима — вот что тебя ждет, счастливчик.



В надежде на подсказку скупал на интернет-барахолках старые немецкие открытки, журналы, иллюстрированные детские книжки тех лет и прочий ностальгический хлам.

Подсказка неожиданно пришла во сне. Много раз слышал истории о том, как разные люди находили во сне решения сложных задач, пожимал плечами — какая ерунда. И вдруг приснилась белая дверь детской, коричневый линолеум, плотная штора цвета красной охры, неровный край тонкой тюлевой занавески, низкая деревянная кровать, застеленная когда-то синим, а теперь выцветшим до пасмурно-голубого покрывалом. В углу большая картонная коробка, выкрашенная в красный цвет — для игрушек, и еще одна, синяя, для книг. У окна старый двухтумбовый письменный стол темного дерева, слишком большой для ребенка, работать за ним стало удобно только за пару лет до окончания школы. На одном из ящиков стола овальная переводная картинка, серьезная девушка с голубой лентой в каштановых волосах. С удивлением вспомнил: а ведь мы с ней дружили, ни одного секрета не было у меня от этой девчонки, и как же она умела утешать, даром что ни слова не говорила. Долго думал, она — фея из волшебной страны, специально поселилась в столе, чтобы составить мне компанию, такая молодец. На одной из стен — полдюжины самодельных бумажных марионеток, их рисовали и клеили вместе с отцом. Надо же, совсем запомнил, а ведь важнейшая деталь, как и девушка с голубой лентой. А думал, проблема только с обоями.

Проснувшись, бросился рисовать, пока не забыл. Зрительная память всегда была цепкая, некоторые коллеги завистливо говорили: «феноменальная», но тут все-таки сон, а сны прежде не запоминал никогда, даже в общих чертах, не то что в деталях.

Оторвался от бумаги, только осознав, что позарез надо в туалет; вернувшись, посмотрел на часы и ахнул: четыре пополудни. А ведь подскочил на рассвете. И даже кофе не успел выпить.

Эскиз обоев, однако, выглядел вполне удовлетворительно, а марионетки — и вовсе идеально, хоть сейчас вырезай. Сказал вслух: «Ну, пошло дело». Очень тихо сказал, хотя хотелось вопить от восторга, по пояс высунувшись в окно.

Так и поступил, но полгода спустя, получив образец отпечатанных обоев. Они были не просто «как настоящие», а самые настоящие. Это казалось чудом; строго говоря, это и было чудом, поэтому, ликуя, распахнул окно и сотряс зимний воздух троекратным «ура».

Прохожие, впрочем, явили собой образец деликатности. Никто даже голову не поднял поглазеть на орущего психа. И ни одно облако пара, клубящегося у лица в морозный день, не изогнулось вопросительным знаком. Подумаешь, восторженные вопли, некоторые еще и не так чудят.

Дальше было проще. Даже старая переводная картинка, девушка с голубой лентой, нашлась у старичка кол-

лекционера, скучавшего в одном из дальних закутков блошиного рынка. Там же в свой срок объявилось синее покрывало, точная копия родительского; помочь ему еще больше выцвести и состариться — дело техники, не о чем говорить. Стол смастерили по эскизу, а унылый коричневый линолеум обнаружился в магазине стройматериалов на окраине — уж если везет, то везет.

Самодельные марионетки были готовы еще задолго до поклейки обоев. Но вешать их на стену не стал, положил в шкаф. Вдруг решил — будет здорово, если работа над всеми комнатами завершится одновременно. Это просто, всегда найдется какая-нибудь мелкая, но существенная деталь, которую можно припрятать, а потом, в самый последний день, установить на положенное место. Понятия не имел, зачем это нужно, но был доволен, что снова стал прислушиваться к интуиции, которую в юности небезосновательно считал важнейшим из своих достоинств, а потом как-то незаметно не то утратил, не то просто разучился различать в многоголосом внутреннем шуме.

В общей сложности работа над детской заняла больше года — с перерывами на другие дела, которых, впрочем, становилось все меньше. Честно закрывал старые обязательства, а новых старался избегать. Идея заниматься квартирой на улице Басанавичяус, как когда-то Анниным домом, в свободное от основной работы время теперь казалась нелепой. Потому что стоило начать,

и сразу стало ясно, какая работа у нас нынче «основная». И хорошо, что так.

С остальными комнатами было много проще, чем с детской, — в том смысле, что они охотно снились по мере необходимости, да еще и в нужном ракурсе — смотри, запоминай. На радостях стал мечтать о возможности брать с собой в сновидение блокнот и карандаш, но не вышло. Хоть в изголовье их клади, хоть за пазуху прячь — не снятся, и все тут.

Впрочем, и так грех жаловаться. Если бы не эти сны, вряд ли вспомнил бы все плакаты и афиши, которыми оклеил двери комнаты, где жил студентом. И какое дурацкое оранжевое одеяло с жирафами, оказывается, служило верой и правдой все эти годы; одеяло, кстати, тоже пришлось делать на заказ, уникальная оказалась вещь.

И рисунки друзей на специально загрунтованных для этого стенах маленькой мансарды тоже, как выяснилось, помнил лишь в общих чертах. И большие яркие пятна как бы пролитой краски, которыми декорировал там пол и мебель, тоже вряд ли воспроизвел бы. И совершенно вылетело из головы, что, скажем, в «стильной квартире преуспевающего холостяка» всюду валялись бумажные самолетики, которые крутил тогда, задумавшись, в промышленных масштабах, из всего, что подворачивалось под руку. А на подоконнике кабинета в Аннином доме сидел тряпичный медвежонок, сшитый из лоскутов. Анна постоянно мастерила таких мишек, говорила, это ее успокаивает. Неторопливо, вдумчиво

подбирала цвета и узоры, набивала медвежат сухими травами, которые собирала в парке и вообще при всяком удобном случае, поэтому в ее спальне всегда пахло концом лета, солнечной пылью знойного августовского полудня и свежестью первых холодных ночей. И как же жаль, что нельзя с ней обо всем этом поговорить — теперь, когда весь мир, включая Анну и ее тряпичных медведей, стал вдруг совершенно непонятной, но чертовски важной штукой, шпионской шифровкой с инструкциями, ключ к которой безвозвратно утерян. Сиди теперь, гадай, что тебе хотели сказать, эх ты, растяпа.

Знакомые, конечно, беспокоились. Вернее, любопытствовали. Расспрашивали — кто деликатно, кто бесцеремонно: куда ты подевался? Что у тебя стряслось? Почему застрял в Вильнюсе? Чем можно так долго заниматься в этой дыре? Медом тебе там намазано?

Говорить правду — дело неблагодарное и муторное. Особенно когда сам ее толком не знаешь. На всем свете не было никого, кому можно рассказать про *шесть отдельных комнат, одна из них угловая, с двумя окнами — на север и на восток. Две — просто на север, три — на юг, одна из южных — с балконом.* Разве что той журналистке в голубой шапочке. Да где ее теперь найдешь. Поэтому говорил, что обзавелся тут подружкой, любовь у меня, со всеми такое бывает, ну.

По большому счету, про любовь — чистая правда. А подробности никого не касаются.

Имел все основания надеяться, что с проверкой никто не заявится. В этом смысле квартира в Вильнюсе выгодно отличается от, скажем, дома в Провансе, купив который с ужасом обнаруживаешь, что у тебя внезапно появилось слишком много близких друзей и все они очень соскучились.

Никто и не заявился.

Работа заняла без малого пять лет. Только когда она подошла к концу, задним числом осознал, что взялся за совершенно невозможное. И каким-то образом сделал это самое невозможное — не отвлеченные фантазии на тему своих бывших жилищ, а их точные копии, самому не верится.

Бессмысленно спрашивать себя: «И зачем это было нужно? Ради чего так старался?» Когда делаешь невозможное, ответ на вопрос «зачем» очевиден: чтобы было. Потому что именно невозможным жив человек, что бы он сам об этом ни думал.

Вот и старался вообще не думать, только делать, работать не покладая рук, радоваться, что получается, уставать, падать на постель, видеть сны, просыпаться счастливым и снова работать, вдыхать, выдыхать, быть.

В первый день лета твердо сказал себе: «готово». Повесил марионеток в детской, наклеил плакат «Led Zeppelin» на дверь студенческой комнаты, нарисовал яркую желтую кляксу на полу маленькой студии. Свернул бумаж-

ный самолетик из темно-синей салфетки, усадил на подоконник лоскутного медвежонка. В последней комнате повесил зеркальный шар, которым обзавелся, заскучав по Аннинному коту, — ради солнечных зайчиков. Из них, теоретически, должны были получиться отличные домашние любимцы, забавные и необременительные.

Подмигнул своему кривому щекастому отражению — ну вот и все. Отражение подмигивать не стало. Сохраняло серьезность, смотрело внимательно, испытующе, словно пыталось разобраться, чьим двойником является и устраивает ли его такое положение дел.

Вдруг испугался. Сам толком не знал чего. Но так сильно, что выскочил на улицу не переодевшись, хорошо хоть куртку машинально схватил в коридоре. Бумажник в одном из карманов позволил избавиться от грязной рабочей одежды в ближайшем магазине, а то неизвестно, как стал бы выкручиваться. Не факт, что смог бы заставить себя вернуться в дом хотя бы за деньгами и документами.

Две ночи провел в гостинице, первую почти не спал, на вторую уговорил себя принять снотворное, впервые за последние пять лет. Пока спал, страх бесследно исчез, так что наутро уже не мог понять, с какой стати сбежал из своего идеального дома вместо того, чтобы сидеть там и праздновать окончание работы. Переутомился напоследок — вот единственное разумное объяснение.

Позавтракав, вернулся на улицу Басанавичяус. Зашел в дом, поднялся на свой третий этаж. Обошел все ком-

наты, не чувствуя ни страха, ни ликования, а лишь спокойное удовлетворение на совесть потрудившегося человека. Сделал, и хорошо. Теперь можно просто жить.

Вечером долго думал, в какой из комнат сегодня ночевать. Так и не смог выбрать, поэтому кинул кубик. Очень удобно: шесть граней, шесть комнат, нумерация в хронологическом порядке, можно не ломать голову.

Выпала единица — значит, в детской. Решил, что это логично.

Долго искал туфли для сна, но так и не нашел. Неужели выбросил вместе с мусором? Впрочем, чего еще ждать от человека, который всего пару дней назад шарахался от собственных отражений.

Лег спать босой.

Когда проснулся, комната была залита солнцем. Некоторое время валялся под одеялом, радуясь возможности вставать когда захочется, а не по будильнику, — вот что значит лето! Разглядывал рисунки на обоях. Если смотреть на них достаточно долго, звери начинают двигаться, ходить по тропинкам, раскланиваться с соседями, раскуривать трубки. Лучше любого мультфильма.

Лежал на спине, лицом кверху, скосив глаза так, чтобы видеть стену, и толстые ежи уже начали было приплясывать на поляне, когда внизу, во дворе неслаженно, вразнобой заорали: «Ты когда выйдешь?» Встал, подошел к распахнутому настежь окну, крикнул в ответ: «Через полчаса».



## Улица Беатричес

Beatriçès g.

### Белый человек

Еще утром знал, что сегодня все получится.

\* \* \*

*Нынче вечером, — пишет Анна, — я шла домой по улице Беатричес; собственно, как всегда. Она, если помнишь, совсем коротенькая, всего один квартал. И там почти на углу, с правой стороны, если идти от цветочного рынка, есть кафе, совершенно дурацкое, терпеть его не могу, даже название до сих пор не запомнила. Точнее, вовсе его не знаю, потому что нарочно не смотрю на вывеску. Каждый день мимо хожу и всегда отворачиваюсь, чтобы случайно не прочитать, как будто не хочу заводить неподобающее знакомство, вот честное слово, как маленькая, самой смешно.*

*Летом у кафе появляется так называемая веранда. То есть хозяева выносят на улицу несколько пластиковых столов, вешают над входом большой телеэкран, и окрестный народец, что попроще, сползается смотреть спортивные программы под пиво. Совсем чудесное*

становится местечко, хоть каждый день крюка по бережной давай, лишь бы мимо не ходить.

Экран убрали еще в начале октября, а столики почему-то оставили снаружи, но там все равно никто не сидит. Кофе у них, судя по сочащемуся из щелей гнусному запаху, ядовитый, а пить пиво на улице уже слишком холодно, да и телевизор с футболом теперь внутри. Или с баскетболом? Ай, неважно.

Иногда кто-нибудь из завсегдатаев выскакивает покурить, присаживается на краешек стула, даже не смахнув влажные листья, а они все падают и падают, и ветер их почему-то не трогает, так что мебели уже давно не видно под пахучими сугробами прелого золота, и это, честно говоря, к лучшему. Ни к чему впечатлительным людям лишний раз на бурые пластиковые мощи смотреть. Целее будем.

Так вот.

Нынче вечером на веранде этого дурацкого кафе сидел человек. Явно не один из завсегдатаев. И вообще не «один из» — кого бы то ни было. Единственный в своем роде. Такой, что не захочешь, а все равно обратишь внимание. Не то очень смуглый, не то просто загорелый, при этом — яркий блондин. В белом, представь себе, пальто. Ты когда в последний раз видела мужчину в белом пальто? Вот и я что-то не припомню.

И такой сказочно прекрасный загорелый блондин в белом пальто сидел у пивного гадюшника на Беатричес, на пластиковом стуле, вернее, в куче заваливших его жел-

тых листьев, как в гнезде. И со стола листья не смел, прямо на них поставил ноутбук, такой же белоснежный, как пальто, по виду — новенький, только что из упаковки. И сам он весь целиком тоже был как будто только что из упаковки; дело даже не в том, что чистенький и отглаженный, а просто лицо такое, словно человек за всю жизнь еще ни одной дурной мысли подумать не успел, ни одной неприятности пережить, даже ни единого раздавленного машиной голубя на мостовой не видел. И вообще ничего, кроме желтых листьев, цветущих хризантем и, скажем, пенки над капучино. Которая, возможно, поначалу привела его в смятение. Но ненадолго.

Я вот сейчас перечитала написанное. И понимаю, что мои старания описать незнакомца выглядят довольно беспомощно. Но что делать, если человек из кафе на Беатричес был именно таков. То есть таково было мое впечатление, а как все обстоит на самом деле, мы с тобой вряд ли когда-нибудь узнаем.

А теперь — самое интересное.

Я, конечно, прошла мимо как ни в чем не бывало. И рада бы постоять, поглазеть на это чудо, разинув рот, как деревенская дурочка, но у меня не было с собой ни леденца на палочке, ни тряпичной куклы, которую в подобных случаях принято держать за ногу, да и голова платком не повязана; в таких обстоятельствах пляться разинув рот было бы грубой стилистической ошибкой.

Но в последний момент я все-таки обернулась поглядеть, что он там пишет. Нет, ну правда, я бы локти искусала, если бы упустила такой шанс. Я же даль-

*зоркая, ты знаешь, поэтому совсем уж беспардонно нависать над его головой не пришлось. Прошла пару шагов, быстренько обернулась, зырк — и все.*

*И слушай, слушай же! Ты мне, наверное, не поверишь. Я бы на твоём месте точно решила — сочиняет. Но что хочешь, то и делай, а этот удивительный белый человек писал про меня. Дескать, мимо идет рыжая женщина в синем пальто, ей очень к лицу сумерки, — больше я ничего не успела разобрать. Но! Ты представляешь?!*

*Во-о-от.*

*Ради этой фразы я тебе все и рассказываю, просто невозможно удержаться, таких комплиментов мне сроду не делали. Сумерки к лицу, ну надо же, а. Мне определенно нравится быть женщиной, о которой такое написали. Всем теперь буду рассказывать, никого не пощажу. Но ты, конечно, самая первая жертва.*

Перечитала написанное. Осталась не слишком довольна. Могла бы что-нибудь поинтересней выдумать, честно говоря. С другой стороны, переписывать уже некогда, а в нашем случае любая ерунда лучше, чем ничего.

Когда каждый день пишешь длинные письма лучшей подруге, которая вот уже второй месяц лежит в больнице, фантазия постепенно начинает иссякать. А если рассказывать только о том, что действительно происходит, по-настоящему интересных событий и сильных впечатлений в лучшем случае на пару-тройку сложносочиненных предложений в неделю наберется. И то не факт.

Обычно Анна пишет письма по вечерам и отправляет их часов в девять-десять. Так договорились. Руте нравится читать ее послания перед сном, когда в палатах гасят свет, в желтом вязком воздухе коридоров, как дохлые мухи в паутине, повисают приглушенные стенами стоны и всхрапывания, а в голову лезут такие мысли, что и здорового человека вполне могли бы угробить. И тут, конечно, телефон становится единственным — не развлечением даже, а натурально спасением. При условии, что в почтовом ящике обнаружится новое письмо. Хотя бы одно. Прожиточный минимум.

Ну и Анне гораздо проще писать вечером, потому что можно хоть как-то опираться на события дня. Искажать их до неузнаваемости, превращая рутинные дела в почти приключения. Перевирать сплетни о коллегах, пересказывать подслушанные в кафе и троллейбусах чужие разговоры; на худой конец, можно болтать о погоде, эксцентричных старухах с цветочного рынка и пестрых дворовых кошках, главное — не злоупотреблять этим благодарным материалом, а то Рута совсем заскучает.

Однако сегодня вечером Анна ждет гостей. Наверняка засидятся за полночь, потому что завтра суббота и никому никуда не надо спешить. В такой обстановке отвлечься на пару минут, отправить письмо еще можно, а написать — уже нет. Так что пришлось сочинить послание для Руты с утра, по такому случаю Анна даже встала на целых полчаса раньше, и если это не подвиг во имя дружбы, то что тогда подвиг.



«Утро — определенно не мое время, — печально думает Анна. — Подняться, кое-как приоткрыв один глаз, — это я еще с грехом пополам могу. Отвести себя в душ, не уронив по дороге, проследить, чтобы кофе не сбежал на край света, прихватив с собой прабабкино сапфировое кольцо и семьсот литов, отложенных для квартирной хозяйки, — предположим, тоже вполне возможно. Одеться — да запросто, хотя пару раз выходила из дома в тапочках, а однажды умудрилась забыть про юбку, хорошо, что спохватилась еще в подъезде. Но с творческими порывами дела поутру, прямо скажем, обстоят неважно. Какие-то они — э-э-э-э... — не шибко порывистые. Результат налицо.

В следующий раз надо просто написать два письма вечером, — думает Анна. — Или даже три, чтобы всегда был запас. Почему вчера не сообразила? Балда-а-а».

\* \* \*

Еще утром знал, что сегодня все получится.

Спал почти до полудня, хотя вчера специально не стали допоздна засиживаться за разговорами, чтобы подняться пораньше. Но такие восхитительные снились на новом месте сны. Уже почти забыл, что так бывает — несколько упоительных жизней можно прожить за одну-единственную ночь, а потом, проснувшись от звона колоколов на рассвете, не выбираясь из-под одеяла, протянуть руку к столу, выпить полную кружку густой от холода во-

ды, закрыть глаза и прожить все эти жизни еще раз, только лучше, вторая попытка — великая вещь. И, снова проснувшись, лежать на спине, с наслаждением вспоминая подробности, печалась об оставшихся на той стороне друзьях и любимых, радуясь при мысли, что уж они-то точно бессмертны, думать: я к ним когда-нибудь вернусь. Рано или поздно вернусь, все остальное — неважно.

Думать: но все это я, конечно, записывать не стану.

И совершенно точно знать: история, которую, в отличие от снов, будет можно и даже нужно записать, уже где-то рядом. Возможно, прямо за дверью. Ждет, когда я оденусь, выпью кофе и пойду куда-нибудь завтракать, чтобы там, на улице, выскочить на меня из-за ближайшего угла.

Значит, лучше бы мне поспешить.

Все это было настолько хорошо по сравнению с тем, что еще вчера считал своей жизнью, и даже без всяких сравнений — настолько хорошо, что смеялся, умываясь, брызгал горячей водой в лицо своему ошалевшему спресонок отражению. Оно кое-как увертывалось. Оба были совершенно счастливы, чего уж там.

Позавтракать забыл, весь день нарезал по незнакомому городу причудливые зигзаги, словно бы ведомый не одним, а большой компанией местных леших, доброжелательных к прохожим, но чертовски рассеянных, давным-давно позабывших все городские маршруты и нестройным хором восклицавших на каждом втором

повороте: о-о-о-о-о-о, а что это у нас за улочка такая? Откуда взялась? Ну надо же!

По наущению все тех же леших несколько раз пил отличный кофе в маленьких неприметных забегаловках, съел восхитительный пирожок с творогом и грушей в полутемной кондитерской на одной из центральных улиц; несколько часов спустя снова зашел в эту кондитерскую, как впервые, купил точно такой же пирожок и подумал: кажется, так уже однажды было — полумрак, хрустящая корочка, бесхвостая деревянная лошадка в углу у входа, влажная сладкая начинка, монета в пять литов на зеленом блюде. Точно было. Когда-то очень давно. Или во сне?

Конечно, во сне.

Спал наяву, что, к счастью, совершенно не мешало огибать препятствия, вежливо улыбаться девушкам в кофейнях, регулярно писать смс: «Все хорошо, гуляю» — и даже дорогу переходить в положенных местах, поглядывая по сторонам, сначала налево, потом направо, как в детстве учили.

Сказать, что думал на ходу, было бы неправдой. Скорее, переставал думать, отключал внутренние голоса один за другим, наслаждался сперва короткими паузами, а после — все более долгими промежутками тишины, полной, или почти. И когда ноябрьский воздух уже начал сереть и сгущаться, предвещая скорые сумерки, остановился как вкопанный, потому что на границе сознания и неопикуемой области горячей, трепещущей тьмы, расположенной — всегда знал это совершенно точно — на изнанке сердца, замаячил смутный пока, но теплый

и плотный силуэт, не призрак, не наваждение, не каприз фантазии. Живое, не вымышленное существо, за которое определенно можно уцепиться, потому что оно затем и пришло, чтобы ты схватил его обеими руками, держал крепко-крепко и не отпускал. Никогда, ни за что.

Пройдя еще несколько кварталов, понял, что существо — женщина. Кажется, лет тридцати, или около того. Определенно рыжая. С медовыми, под цвет волос, глазами. Сейчас, поздней осенью, она носит сумеречно-синее пальто в пол, тяжелое, но чертовски элегантное. Она откуда-то знает, что сумерки ей к лицу, сама придумала, или кто-то однажды сказал, и...

Так, стоп. Вот теперь надо сесть и записать. Сумерки к лицу — это сейчас самое важное. Такие вещи нельзя бесконечно крутить в голове, потому что уже через четверть часа фраза надоест, покажется глупой и тяжеловесной, и тогда все пойдет прахом, а мне нельзя прахом, только-только восстал из него, не хочу туда больше, ну уж нет.

Огляделся — где бы присесть? Увидел спортбар на углу, с летней верандой у входа. Везде уже давным-давно убрали уличные столы, а тут они еще стоят, погребенные под грудями опавших листьев, и если это не добрый знак, то что тогда.

\* \* \*

«Надо же, — думала Анна. — Знала бы, что так рано сегодня освобожусь, не утrophала бы все утро на дурацкое письмо. С другой стороны, что сделано, то сделано.

С третьей стороны, никто не мешает мне написать его заново, времени у меня еще море. Ребята раньше семи совершенно точно не придут. Сколько сейчас? Надо же, пяти еще нет. А сумерки уже такие густые, что споткнуться можно об эту синеву».

И тут же споткнулась — не об сумеречную синеву, конечно, всего лишь о темно-синее пластиковое ведро — ветром его, что ли, унесло? А бабульки-цветочницы чего ушами хлопают? Впрочем, нет, не хлопают, мечутся, как курицы, не видят в потемках, куда укатилось ценное имущество, придется выручать. Отнесла ведро хозяйке и получила столько благословений, что их должно было с лихвой хватить на очень длинную, умеренно грешную жизнь, которую Анна себе как раз недавно запланировала. Очень удачно все сложилось.

Чрезвычайно довольная собой, ведром, будущими прегрешениями и прочими обстоятельствами, Анна свернула на улицу Беатричес, чтобы добраться до дома кратчайшим путем.

\* \* \*

Только усевшись, вспомнил, что одет в пижонское белое пальто. В полдень оно казалось не просто подходящей, а единственно возможной одеждой для предстоящей прогулки, а сейчас наконец стало ясно, что идея была в высшей степени дурацкая. Впрочем, черт с ним, почистить пальто гораздо проще, чем, ни капли не расплескав, донести рыжую сумеречную женщину — не то что до до-



ма, а хотя бы до следующего угла. Или, того хуже, писать о ней в душном помещении, заполненном чужими головами и запахами. Потом, возможно, очень скоро наступит момент, когда писать можно будет вообще где угодно, в любых условиях, хоть в привокзальной пивной, хоть в общем вагоне, хоть посреди жующей и гогочущей ярмарки. Но не сейчас. Узкая, тихая, непроезжая улочка, свежий ветер и тишина — именно то, что требуется.

Решил — если работники кафе поинтересуются, что я тут делаю, закажу что угодно, на их выбор, лишь бы отстали.

Но никто, конечно, так и не вышел. Обслуживать психа, рассеявшегося на летней веранде в середине ноября, — ищи дураков.

Вот и славно. Вот и договорились.

Несколько минут спустя знал о рыжей женщине в синем пальто гораздо больше, чем можно успеть записать за полчаса — дольше сейчас на улице все же не высидишь. Но это как раз не беда, можно конспективно, по пунктам, забыв о знаках препинания и сокращая слова, чтобы успеть за собой; особого практического смысла в этом нет, внезапно открывшиеся подробности и без конспекта вряд ли вот так сразу забудутся, но остановиться совершенно невозможно, такое это оказалось счастье — торопливо, взхлеб писать.

Краем глаза заметил, как мимо прошла женщина в синем пальто, из-под капюшона выбивались кудри, кажется действительно рыжеватые; в сумерках, впрочем, тол-

ком не разберешь. Удовлетворенно буркнул себе под нос: «Ага, есть». Подобные совпадения давно перестали казаться счастливой случайностью, они стали почти обязательными событиями, всякий раз сопровождающими рождение нового текста, надежным свидетельством, что все идет как надо; впрочем, оно всегда идет как надо — если вообще хоть как-то идет.

\* \* \*

*А вот с этого места, — пишет Анна, — пожалуйста, читай очень внимательно. И, если получится, верь мне. Очень хочу обо всем этом поговорить. А кроме тебя — совершенно не с кем. Не будь тебя, я бы сейчас, наверное, взорвалась. А так напишу и, скорее всего, уцелею.*

*Сперва придется покаяться. Историю про «белого человека» я выдумала нынче утром. Обычно я пишу тебе по вечерам, как мы и договаривались. Рассказываю о том, что случилось за день, если и привираю, то совсем чуть-чуть, не по сути, а по мелочам, для красного словца, чтобы интересней было читать. Но сегодня у меня намечаются гости. По моим прогнозам — допоздна, если не вовсе до утра. И я вдруг сообразила, что засесть при них за письмо вряд ли получится, поэтому лучше сделать это заранее, то есть прямо с утра.*

*Легко сказать — лучше. Когда это у меня с утра голова работала?*

Поэтому сперва я просто пялилась на экран как ба-ран на новые ворота — о чем писать-то? За ночь ни-чего выдающегося не случилось, даже снов толком не помню — как всегда, когда просыпаюсь по будильнику. В общем, гуманитарная катастрофа.

Тогда я решила писать все, что придет в голову. Лю-бую чепуху. И сама не заметила, как сочинила историю про человека в белом пальто, который якобы сидел и пи-сал о том, как мимо иду я, вся такая прекрасная. А я, дескать, подглядела и возрадовалась — сумерки мне к ли-цу! Ну надо же! Всем комплиментом комплимент.

Написала, перечитала. Мне показалось — полная ерунда. Низачем и ни о чем. Но переписывать уже не бы-ло времени, так что я быстренько посыпала голову пеп-лом и, не отряхнувшись, убежала на работу. Которая, к слову сказать, закончилась на полтора часа раньше, чем я планировала, так что, получается, можно было не суетиться. Но что сделано, то сделано.

И вот иду я домой. И, как всегда, сворачиваю на Бе-атричес, потому что это, как ни крути, самая корот-кая дорога, а я уже и так набегалась по самое немогу.

И — слушай.

Там действительно был этот человек. Блондин в бе-лом пальто, загорелый и безмятежный. С белым же ноутбуком. Действительно сидел на стуле у входа в мое нелюбимое кафе, даже листья не стряхнул, все как я с утра сочинила.

На этом месте меня так и подмывает красиво при-врать — дескать, остановилась, подсмотрела, что он

там пишет, и увидела ту самую фразу про сумерки, ко-торые мне якобы к лицу. Но Рутка! Какое там подсмотрела. Я так испугалась! Сама толком не знаю чего. Но очень сильно. Настолько, что появление нетрезвого маньяка с окровавленным топором меня бы здорово успо-коило. Но такой уж вредный народ эти маньяки с топо-рами: когда позарез нужны, не доищешься.

Поэтому я просто прибавила шагу. И только когда свернула за угол, на Якишто, немножко перевела дух. Но пошла еще быстрее. Если совсем честно, то побежала. Хотя за мной, конечно, никто не гнался. Да и с чего бы.

Пока во всей этой истории мне понятно только одно: я теперь еще долго не буду ходить по Беатричес. Потому что, если этот белый человек, которого я сдуру придума-ла, теперь будет сидеть там всегда, я ничего не хочу об этом знать. А если, наоборот, исчезнет и больше нико-гда не появится, об этом я знать не хочу тоже. Понятия не имею почему. Не хочу, точка.

\* \* \*

Руки так ооченели на ноябрьском ветру, что не со-грелись даже в теплых карманах пальто. Когда вошел в дом, негнущиеся пальцы еле справились с пуговица-ми и шнурками.

Впрочем, все это ерунда.

В гостинной был встречен вопросительным взглядом — дескать, ну как? Торжествующе улыбнулся. Сказал:

— Еще утром знал, что сегодня все получится.

# Улица Вису Швентую

Visų Šventųjų g.\*



## Все святые

— ...и вот идет она по городу в таком ужасе, что даже реветь не может, потому что — ну, ты прикинь, пятнадцать тысяч долларов, это и сейчас не то чтобы копейки, а в то время совершенно фантастическая сумма. Еще вчера были и вдруг пропали. В собственном доме, среди бела дня. И получается, кто-то из своих взял, больше некому, чужие давно не заходили. И совершенно непонятно, на кого думать. А если хотя бы на минуточку предположить, что понятно, так еще хуже. Потому что если деньги взял муж, то пропали не только заветные тысячи, а вообще все. Ну, ты понимаешь ее логику, да? Зачем нормальному, непьющему мужику тайно уносить из дома собственные доллары, если не ради побега со смуглой красоткой-разлучницей в какую-нибудь знойную Аргентину или, на худой конец, Варшаву. И вот идет она с такими замечательными мыслями, сама не знает, куда и зачем. Говорила потом, моталась полдня по городу, просто чтобы с ума не сойти вот так сразу, без подготовки,

---

\* В переводе — улица Всех Святых.

а растянуть удовольствие хотя бы до вечера. Пока представляешь ноги и следишь, чтобы под машину не угодить, ты, получается, вроде как при деле, и это помогает держать себя в руках... Короче, неважно. Шла себе и шла. И вдруг услышала, как за ее спиной какая-то женщина говорит: «...еще со вчера лежит в холодильнике...» И мама тут же все вспомнила. В смысле как сама перепрятала деньги в холодильник. Накануне папа был на ночном дежурстве, а к маме пришла сестра, тетя Соня. И они под сплетни о родне уговорили бутылочку домашней настойки. Если не две. Потом тетя Соня ушла, а у мамы спьяну случился приступ паранойи. Уснуть не могла, думала, куда деньги перепрятать. Она же все время, пока эти доллары в доме лежали, сама не своя была. Все прикидывала, как бы получше спрятать их от воров. И под мухой ее осенило. Завернула пакет в тряпку, положила в кастрюлю, сверху накидала кислой капусты, накрыла крышкой, поставила в холодильник и успокоилась — если и заберутся воры, в холодильник вряд ли полезут, разве только за выпивкой, а по кастрюлям шарить не станут, не до того. И легла спать, страшно довольная своей находчивостью. А поутру, проспавшись, полезла в шкаф проверять, на месте ли деньги, — просто по привычке, она по сто раз на дню проверяла. А в шкафу их, понятно, уже не было. И мама сразу ударилась в панику, вместо того чтобы сесть и спокойно подумать. И только когда кто-то на улице сказал про холодильник, она все вспомнила, бросилась домой и, понятно, нашла деньги в каст-

рюле. То есть эта история закончилась хорошо. Родители в конце концов купили дом — тот самый, на Конарского, где и сейчас живут; ну, неважно. Мама потом эту историю всем рассказывала, и соседка — жила рядом с нами такая бабушка Дайва, из тех чудесных старушек в шляпках с искусственными розами, кому с виду лет семьдесят, а начнешь их слушать, и кажется, что все пятьсот, ходячая история, разве только князя Гедиминаса в живых не застала. Да и то не факт, может, просто к слову пока не пришелся... И вот она стала спрашивать — где да где ты про холодильник услышала? Мама сперва не могла сообразить, но потом вспомнила, как свернула с Пилимо к храму Всех Святых, а там вроде бы еще раз свернула, и на этом месте бабушка Дайва понимающе закивала — дескать, ну конечно, по улице Вису Швентую ты шла, где еще и получить дельный совет, как не там. Мама эти слова мимо ушей пропустила, но не я. Мне же тогда двенадцать лет было, ты что! Самый подходящий возраст, чтобы такими вещами интересоваться. И уж я в бабу Дайву вцепилась — что за улица такая и как там совет получить? А ее и упрашивать особо не нужно было, любила поговорить. Оказывается, есть такая не то примета, не то просто городская легенда — если ищешь ответ на какой-то вопрос, хочешь узнать что-то важное или, скажем, совета спросить, иди на улицу Всех Святых, ходи по ней туда-сюда, думай свою думу и слушай внимательно, рано или поздно дадут тебе ответ человеческим голосом, главное — не прохлопать,

потому что повторять никто не станет. Ну, ты представляешь, что со мной сделалось?

Наконец пауза. Не потому, конечно, что Янка ждет моего ответа. Просто вспомнила про давно остывший чай. Но я все-таки говорю:

— Представляю. Каждый день с утра до вечера по улице Всех Святых гуляла?

Хохочет.

— Ну что ты. Не каждый, а только тогда, когда у меня появлялись жизненно важные вопросы. То есть примерно через день. И знаешь, что замечательно? Я всегда получала ответ. Хороший, простой и понятный, как будто жизнь — задачник для пятого класса и я нашла способ подглядывать в конец, где все правильные ответы написаны. Вот честное слово, не вру. Загадаю, например, про какого-нибудь мальчика, так обязательно услышу, как где-то в конце улицы ругаются: «Дурак!» Или наоборот, восклицают: «Ах ты, мой хороший», — и сразу все про мальчика ясно. А когда влюбилась в одного красивого старшеклассника, услышала, как пьяный кричит себе-седнику: «Ты кто? Я тебя не знаю!» И ведь чистую правду сказал, тот красавчик вообще не подозревал, что я, такая расчудесная, на свете есть, да и я его всего раз пять изда-лека видела. А однажды обиделась на подружку, уж не помню, в чем там было дело, но переживала страшно, даже ночью редела, с утра не утерпела, вместо школы поехала в центр, по улице Всех Святых гулять, чтобы сказа-ли, как теперь жить, и, знаешь, услышала тихий такой

голос, совсем близко: «Не сердись». Как будто кто-то сзади подошел и лично мне на ухо шепчет, я даже чужое ды-хание на шее почувствовала. Оглянулась, а не то что ря-дом, на всей улице никого. Вообще ни души. Ух как мне стало страшно! Но с подружкой помирилась, конечно. Сказали же: «не сердись», — значит, нельзя... Ох. Я долго потом на Вису Швентую не решалась ходить. Но мое то-гдашнее «долго» — это всего несколько месяцев, осенью я опять туда зачастила. Дала себе честное слово, что те-перь с пустяками не сунусь, только про самое-самое важ-ное спрашивать буду, но можешь себе представить, какое оно у меня тогда было, это «самое важное». То очередной мальчик понравился, то родителей в школу вызвать при-грозили, то в театральный кружок записывать не хотят... Короче, в один прекрасный день я услышала, как муж-ской голос говорит — очень, знаешь, таким сварливым тоном: «Отвяжись, надоела». И вот тогда я испугалась по-настоящему. И одновременно обиделась. Прогоняют, значит. Ну и ладно, подумаете. Обойдусь. Ни за что больше сюда не приду, вот хоть убейте. И действительно, не приходила несколько лет. Сперва боялась-обижалась, а потом просто забыла. Ну как, не то чтобы совсем забы-ла, а перестала придавать значение. В пятнадцать лет все, что с тобой происходило два года назад, кажется совер-шенной ерундой. Потом — тем более. Так что до двадцати я как-то дожила без подсказок. А потом влипла в исто-рию, вернее, в несколько историй сразу, одна другой весе-лее... Ой, да что я тебе рассказываю, ты же знаешь, за кем



я была замужем. Короче, я сейчас даже не могу вспомнить — нарочно я тогда отправилась на Вису Швентую за советом или случайно мимо шла. Жила как в тумане, дома — ад, и куда ни пойдешь, таскаешь этот ад за собой, как улитка раковину... В общем, так или иначе, а свернула я на улицу Всех Святых и почти сразу услышала, как кто-то говорит: «Всего на три года уезжала, а вернулась — такие перемены, ничего не узнать». Вроде бы обычная реплика, да? Но я совершенно точно знала, что это было сказано только для меня. Я, сам понимаешь, не раз думала, что надо просто взять и уехать куда глаза глядят. Это в городе меня найти проще простого, а мир-то велик. Но никак не могла решиться. Не представляла, куда ехать, что я там буду делать и на какие шиши жить. Думала — совсем пропаду, здесь хоть какая-то крыша над головой есть, и мама с папой рядом, ничем не помогут, так хоть пожалеют. И вдруг — как будто ведро воды на меня вылили. Мгновенно очнулась. Подумала — а что я теряю? Домой даже заходить не стала, благо документы всегда с собой носила. Отправилась к маме, сказала, что уезжаю, она на радостях все деньги, какие были в доме, собрала, но отдала мне только на вокзале, когда я в автобус садилась. И правильно сделала. С женами наркоманов иначе нельзя. Рано утром я уже была в Варшаве, оттуда поехала в Германию автостопом. И как-то все устроилось — и работу нашла, и на улице не осталась, я же немецкий неплохо знала и с людьми всегда легко ладила. А ад мой благополучно потерялся где-то на полпути к Мюнхену. В туа-



лете на одной из заправок, я так думаю. Короче, долг маме я уже через четыре месяца вернула переводом, а дальше становилось только лучше, вот буквально с каждым днем все лучше и лучше, потрясающее было время. Я, конечно, помнила фразу: «Всего на три года уехала», а все равно не планировала возвращаться. От добра добра не ищут. Но тут, как раз примерно через три года после моего отъезда, заболел папа. Ничего страшного, как в итоге оказалось, но я так перепугалась, что поехала его навещать. И вдруг выяснилось, что владыка моего ада давным-давно исчез. Не то укатил в Индию, как всегда мечтал, не то мерцающие астральные сущности его, такого прекрасного, похитили, понятия не имею, потому что больше никто никогда его не видел. И по мне, так гораздо лучше, чем если бы он просто умер, как все предсказывали, я — за открытый финал. И от его чудесного исчезновения я пришла в такой восторг, что сама не заметила, как восстановилась в университете, мне же совсем немного доучиться оставалось. А потом вдруг объявились знакомые немцы с очень интересными предложениями, и все у нас так занятно завертелось — до сих пор, собственно, вертится, ты знаешь... Давай ты теперь заваришь чай, а я соберусь с мыслями. Потому что не представляю, как рассказать, что было дальше. Но лопну, если не расскажу.

За время моего отсутствия Янка успела пересесть из мягкого кресла на стул, зачем-то застегнула пиджак и, кажется, даже губы подкрасила.

— Это чтобы сосредоточиться, — отвечает она на мой невысказанный вопрос. — Когда спина прямая, я почему-то лучше соображаю. А если застегнуться на все пуговицы, речь становится более внятной, проверено практикой. Все это сейчас очень-очень важно, скоро поймешь почему.

Киваю — дескать, ладно, пойму. Разливаю чай, протягиваю ей чашку. Терпеливо жду.

— Значит, так, — наконец говорит Янка. — Смотри, как обстояли мои дела. С одной стороны, я очень хорошо помнила, почему решила уехать. И отдавала себе отчет, что это был самый правильный поступок в моей жизни. И не пыталась делать вид, будто приняла решение сама, без подсказок. Моя благодарность к голосу, прозвучавшему в тот день на улице Всех Святых, была и остается безграничной. С другой стороны, я туда больше не ходила. В моей жизни не осталось вопросов, ответы на которые я не могла бы получить самостоятельно. Вот и старалась не беспокоить по пустякам. Не знаю, кого именно. Но — не беспокоить по пустякам, точка. В машине, конечно, не раз там проезжала, но это, думаю, не считается. А однажды, года полтора назад, я туда все-таки пошла. Совершенно сознательно пошла. Я хотела сказать наконец «спасибо». Вернее, подумать «спасибо». Решила — если даже вопросы там вслух произносить не нужно, уж «спасибо»-то мое тем более услышат. Опять же, не знаю кто. Но услышат, факт. И вот иду я по Вису Швентую, старательно думаю свое «спасибо-спасибо-спасибо» и заодно глазею по сто-

ронам — пасмурно, но очень светло, как только весной бывает, почки на деревьях вот-вот взорвутся, и от этого в воздухе такая неуловимая зеленая зыбь, а значит, скоро будет совсем тепло, зацветут вишни, черемуха, сирень, а потом наступит лето, и как же будет хорошо... И тут я осознаю, что говорю это вслух. То есть не все подряд, а только одну фразу: «Как же будет хорошо». Заткнулась, конечно, смутилась страшно, покосилась по сторонам — как там народ, не шарахается от сумасшедшей бабы? Но вокруг никакого народа не было, только впереди девушка шла, и это еще вопрос, кто из нас сумасшедшая баба, потому что она вдруг как подпрыгнула! И помчалась куда-то, размахивая руками и смеясь. А я, наоборот, остановилась. Потому что — ну, ты понимаешь, о чем я подумала.

— Что девушка по улице Всех Святых не просто так шла?

— Ну да. Я еще вспомнила, как она медленно плелась, еле ноги переставляла. Сперва далеко впереди была, а я ее за минуту почти догнала, хотя никуда не спешила. И вдруг — такое ликование. Я же себя тоже примерно так вела в школьные годы, когда ходила на Вису Швентую узнавать про мальчиков и контрольные. И хихикала, и верещала, и подпрыгивала. А кого, собственно, стесняться — неведомых голосов, которые и так знают, что у меня на уме?.. В общем, я долго потом об этом происшествии думала. И в конце концов решила — отлично все получилось. Какая разница, я это сказала или еще кто-то? Если у девицы действительно был какой-то

вопрос к мирозданию, она получила самый прекрасный ответ, какой только можно вообразить.

Янка улыбается и одновременно тяжело вздыхает. Черт знает как это у нее получается.

— В следующий раз я попала на Вису Швентую примерно месяц спустя, совершенно случайно. Ну, то есть не с какой-то возвышенной целью, а только потому, что это был кратчайший маршрут от русского книжного, куда я зашла за журналами, до чайного клуба на Базилиону, где меня ждали коллеги; мы туда, знаешь, ходим по пятницам после работы вместо того, чтобы надираться пивом в ближайшем баре, как все приличные люди. В общем, я задержалась в книжном, страшно переживала, что чай закажут без меня — они же совершенно не разбираются, выберут не пойми что! — рванула чуть ли не бегом, кратчайшей дорогой. И тут заголосил телефон, мама решила посоветоваться, ехать ей к куме в деревню на выходные или холодно еще, и я громко — ну, потому что шумно на улице, машины ездят — заорала в трубку: «Обязательно поезжай, там хорошо!» Спрятала телефон в карман и чуть не налетела на тетку, которая шла впереди и вдруг внезапно остановилась как вкопанная. Я в последний момент как-то изловчилась, обогнула препятствие и услышала, как она шепотом, почти про себя, повторяет мои слова: «Поезжай, там хорошо». И чуть не расхохоталась вслух — ну надо же, опять! — но, конечно, сдержалась. И весь вечер об этом думала — пока чай пила и потом, перед сном. И даже на следующее утро. И знаешь, ничего путного не придумала, но

радовалась, как дура. Вот просто счастлива была, что так все совпало и мой голос снова кому-то что-то подсказал. И пришла от этого в такое вдохновенное настроение, что вечером уже специально поехала в центр, припарковалась прямо на Вису Швентую и принялась там бродить туда-сюда. Не то чтобы я планировала регулярно выкрикивать: «Все будет хорошо» — и любоваться произведенным эффектом. Как раз наоборот, твердо обещала себе помалкивать. И ни о чем не спрашивать. Просто хотела там побывать. *Побыть*. И все.

Янка снова улыбается, тянется за сигаретами, берет одну, крутит в руках, смотрит с рассеянным интересом, похоже, не может вспомнить, что обычно делают с этими штуками. Продолжает.

— И понимаешь. Вроде бы ничего особенного в тот вечер не произошло. Я сама помалкивала и никого ни о чем не спрашивала, даже мысленно. И не было никаких голов, никаких пророчеств. Только где-то все время играла музыка. Труба или что-то в таком роде, я не разбираюсь. И похоже, не в записи, а живьем. Ничего сверхъестественного, конечно. Кто-нибудь репетировал у открытого окна, весной они у всех нараспашку. Но знаешь, если бы я задала вопрос, это был бы очень внятный ответ. Поэтому теперь, задним числом, можно считать, что вопрос я все-таки задала, просто сама не заметила. Неважно. Но когда я села в машину, чтобы ехать домой, уже понимала, как будет дальше. В смысле как мне теперь себя вести и что делать. И как к этому относиться. Правильный ответ: да как получится. Как бог на душу положит. Универсальная

формула. Поэтому я просто живу себе дальше, как всегда жила. Каждый день по Вису Швентую с пророчествами не мотаюсь, ты не думай. Но и не избегаю ее специально, как раньше. Если по дороге, сворачиваю туда, почему нет. И если, пока иду, у меня звонит телефон, я, конечно, отвечаю не откладывая: «Посмотри в шкафу», «Не забудь, о чем мы утром говорили», «Беги туда немедленно», «Не спеши с этим делом пока», — короче, что требуется по обстоятельствам, то и говорю, не задумываясь о последствиях. А если вдруг обнаруживаю, что замечтавшись, брякнула что-то вслух без всякого телефона, не беру в голову. Сказала — и сказала, чего уж теперь. С кем не бывает. Я не всемогущий оракул, не пророк, ответственный за счастье суеверной части виленского человечества. Просто человек, который иногда проходит по улице Всех Святых и говорит что-то вслух. Может быть, кто-то услышит мой голос и примет его на свой счет, а может, нет. Неважно. Совершенно неважно, потому что нас великое множество — тех, кто порой что-то говорит, и тех, кто слышит, и тех, кто не слышит. Был бы музыкант, а дудка всегда найдется, уж если ему приспичит, возьмет первую попавшуюся и сыграет. Я, конечно, очень счастливая дудка — не потому, что играю лучше прочих, а потому, что точно знаю — музыкант есть. Понятия не имею, кто он, что за пьесу играет и почему выбрал для концерта именно улицу Вису Швентую, а не какую-нибудь еще. И даже вообразить не могу, как звучит вся мелодия целиком. Но пока он играет, почему бы мне, как и всем остальным, не быть под рукой.

# Улица Вокечю

Vokiečių g.



## До луны и обратно

— Какой странный подарок, — говорит Тимо. — Превосходная работа. Совы, восседающие на циркулях, — удивительный сюжет, в жизни ничего подобного не видел. А фигура старика под циферблатом даже слишком хороша. Блестящая работа скульптора, неумело прикинувшаяся декоративным элементом. Знаешь, что у него в руке? Это не серп, а специальный виноградарский нож для подрезания лозы. Похоже, тут изображен сам Кронос, причем на раннем этапе своей карьеры, когда он был простым крестьянским богом, ответственным за сбор урожая. Уникальная вещь. Однако — часы? Мне? Да еще такие большие? У меня в жизни не было настенных часов. Только будильник на тумбочке. А теперь все тот же будильник, но в телефоне, и хватит с меня. В семьдесят восемь лет человек окончательно перестает нуждаться в постоянном напоминании о ходе времени. Как тебе пришло в голову?..

К этому вопросу Натали хорошо подготовилась.

— Во-первых, это страшная месть за то, что ты не хочешь на мне жениться.

— Так я же хочу, — напоминает Тимо. — Еще как хочу! Но не могу. По техническим причинам. Будь я хоть на десять лет моложе...

— Неважно почему. Не женишься, и точка. Поэтому я решила проникнуть в твою спальню столь изощренным способом. Эти часы много лет тикали в изголовье моей кровати, а теперь будут висеть над твоей, и не вздумай снимать, всерьез обижусь. Отныне в твоём доме всегда будет мое время, и делай что хочешь.

— Твое время? Такая постановка вопроса не приходила мне в голову, — оживляется Тимо.

— Это еще не все. Смотри внимательно. На стрелки смотри.

— Погоди-ка, — растерянно говорит Тимо. — Мне не мерещится? Они действительно идут назад?

— Очко команде знатоков! И всегда на моей памяти так шли. Три дюжины старых и мудрых виленских часовщиков пытались их починить, никто не справился, и я решила оставить как есть.

— Неужели действительно три дюжины?

— Конечно нет, — смеется она. — Всего четверо. Но, согласишься, тоже неплохое число.

А вот это неправда. Натали никогда не пыталась починить эти часы. В голову не пришло бы с ними возиться. Она вообще не понимала, зачем их купила.

Как и Тимо, Натали большую часть жизни довольствовалась древним будильником, на глупую звонкую голову которого обрушивались ежеутренние проклятия многих

поколений ее семьи. А позолоченные наручные часики, подаренные дядей на совершеннолетие, надевала только в дни семейных торжеств, чтобы порадовать дарителя. Все остальное время подарок лежал в тумбочке. Натали так и не смогла привыкнуть к обновке, постоянное тиканье путало мысли, сбивало с толку, навязывало свой монотонный, гипнотический, невыносимый, в сущности, ритм. И прекрасно жила без часов до сорока с лишним лет, когда вдруг осталась совершенно одна и с кучей денег.

Муж при разводе обошелся с Натали, как говорится, по-божески: оставил ей не только огромную квартиру в Старом городе, но и телефонный номер своего приятеля риелтора, который почти бескорыстно помог продать хоромы за хорошую по тем временам цену и купить крошечную студию в Ужуписе, еще не вошедшем в моду и, следовательно, довольно дешевом районе. И банк надежный присоветовал для помещения капитала — сумма, оставшаяся у Натали на руках после операций с недвижимостью, казалась ей огромной и скорее пугала, чем радовала. Положив деньги в банк, она более-менее успокоилась и стала учиться жить заново, как учатся ходить после тяжелой болезни.

Это была очень странная жизнь. Совсе не такая плохая, как мерещилось Натали, когда Роберт внезапно объявил о предстоящем разводе и своем скором отъезде.

Натали никогда не любила мужа, во всяком случае не испытывала ничего похожего ни на чувства, описанные в соответствующих романах, ни на дикую смесь радост-

ного возбуждения и почти невыносимой душевной муки, сопровождавшую ее собственную первую юношескую влюбленность. Но она была очень привязана к Роберту, привыкла, что муж всегда где-то рядом, надежный, как лапландский Гранитный Вал, одним своим присутствием отменяющий проблемы, печали, радости и, кажется, саму жизнь в обмен на восхитительное ощущение полной безопасности и гарантированного покоя. А тут вдруг не то что привычной скальной породы — рыхлой земли под ногами не осталось, болтайся как хочешь в полной пустоте, которая, наверное, и есть свобода, красивое книжное слово; кто бы мог подумать, что это — *так*.

Поначалу Натали именно что *болталась*. У нее были время, деньги, крыша над головой и умопомрачительный вид из окна, а больше ничего — ни друзей, которых как-то незаметно отменил Роберт, ни детей, которых они оба никогда не хотели, ни работы, ни мало-мальски востребованной профессии. Какому психу-работодателю может понадобиться сорокадвухлетний искусствовед, автор одной-единственной бестолковой статьи, опубликованной еще во время учебы? Натали уж на что была наивна, но особых иллюзий насчет трудоустройства не питала.

Все, что можно было сделать в сложившейся ситуации, — это как можно экономнее расходовать положенные в банк деньги и постараться не очень долго жить, чтобы не нищенствовать в старости. Натали очень хорошо это понимала, но совершенно не видела смысла вести себя

благоразумно. Роберт преподавал ей отличный урок: планировать будущее бессмысленно, подчинять ему свое настоящее — самоубийственная глупость. Натали решила, что в этом зыбком мире, где все по-настоящему важные события случаются внезапно и беспричинно, даже не пытаясь казаться следствиями хоть каких-то твоих поступков, слов и ошибок, можно позволить себе все, чего захочется. Наряды? Да какие угодно. Путешествия? Да хоть на край света. Икра и лангустины на ужин? Да хоть лопни.

Но это была теория. На практике Натали целыми днями сидела в своей новой квартирке, перечитывала любимые книги и ждала, когда ей чего-нибудь захочется. Если не в Париж, то хотя бы накрашивать ногти.

Но ей, конечно, так ничего и не захотелось.

«Похоже, я уже давно живу под знаком Сатурна», — думала Натали, листая новую, скверно изданную, невесть как затесавшуюся в их тщательно подобранную библиотеку «Энциклопедию Символов»: «Злое влияние Сатурна приносит страх перед жизнью, скуку, непригодность, медлительность, лень, угрюмость, уход в себя, одиночество, печаль». «Как про меня написано, — думала Натали. — Как будто кто-то долго наблюдал за мной, а потом пошел и записал все как есть». Ей это очень не нравилось.

«У алхимиков Сатурн считался знаком Свинца — основы их искусства, низкого металла, потенциально содержащего в себе золото, — продолжала читать Натали. — Человеку, сумевшему противостоять его дур-

ному влиянию, Сатурн дарует зрелость разума, волю и рассудительность».

«Ладно, — сказала она себе. — Значит, противостояние хотя бы теоретически возможно. Вот с этого и начнем».

Натали по-прежнему ничего не хотела, но твердо решила действовать, не дожидаясь вдохновения. Вот прямо сейчас.

Тут очень кстати оказалась выработанная годами потребность в привычном распорядке. Натали придумала немудреный, но дисциплинирующий режим: вставать не позже восьми, поддерживать дом и себя в чистоте, готовить еду — не впрок, на неделю вперед, а понемножку, в маленькой кастрюльке. И, если уж новомодные спортзалы вызывают стойкое отвращение, побольше ходить пешком. Просто гулять по городу, но — в любую погоду, не меньше трех часов. Больше — можно.

Поначалу прогулки казались Натали сущим мучением, но она быстро сообразила, что следует отказаться от каблуков, и втянувшись, а ближе к середине весны осознала, что стала получать удовольствие от неспешной ходьбы по цветущему городу. Вдруг вспомнила, что зрелища, запахи и звуки когда-то были важной частью ее жизни. Принялась рассматривать лица и одежду прохожих, подслушивать разговоры, глазеть на мелкие уличные происшествия, сворачивать во дворы, мимо которых всю жизнь проходила, не испытывая ни малейшего интереса.

Все это еще не было настоящей жизнью, но стало неплохим подготовительным упражнением. Однажды она

поймала себя на слабом, но явственном желании заглянуть в новое, только что открывшееся кафе, тут же зашла и на радостях сделала самый бестолковый заказ в своей жизни: кофе, который терпеть не могла, и пирожное, хотя никогда прежде не ела сладкого. Впрочем, ей вполне понравилось и то и другое, такой уж был удивительный день. «Я просто становлюсь кем-то другим, — думала Натали. — Какой-то незнакомой женщиной, о которой пока ничего не известно, кроме того, что она любит кофе, а значит, совершенно точно не похожа на меня. И как же это, честно говоря, хорошо».

Кофе Натали любит до сих пор. Вот и сейчас, распрощавшись с Тимо, который в последнее время начал слишком быстро уставать, она не мчится домой, где в темном углу за письменным столом затаилась страшная хищная Срочная Работа, а сидит в кафе на Вокечю. То есть не в самом кафе, тесном и уже сейчас, в мае, душном, а снаружи, на заставленном бесчисленными столиками бульваре. Кофе здесь не то чтобы хорош. Откровенно говоря, совсем фиговый у них кофе, как во всякой нормальной пивной. Но — восхитительно шумный бульвар. Но — мутный перламутр вечерних облаков над головой. Но — нагретый недавно закатившимся солнцем, еще влажный от короткого послеполуденного дождя деревянный стул. Но — сокрушительный запах мокрой сирени из окрестных дворов. И никакой срочной работы, по крайней мере здесь и сейчас. «Мало ли,



что будет потом, дома. Будущего вообще нет», — весело думает Натали. И одновременно, противореча себе, бормочет под нос: «Грядущее свершается сейчас». И то и другое — чистая правда. Этим вечером. Для нее.

От возбуждения Натали болтает ногами и размахивает руками, дирижируя одной лишь ей слышным сводным хором всех майских ветров. Дамы, сидящие за соседним столиком, неодобрительно на нее косятся. Очень солидные, представительные дамы, даже бокалы с пивом выглядят в их руках как переходящие кубки за успехи в мелкобуржуазном домоводстве. «А ведь они младше меня, — думает Натали. — Лет на десять, пожалуй. Совсем, можно сказать, *писюхи*». И, обнаружив в своей голове это дурацкое слово, тоненько, по-детски хихикает вслух от неожиданности.

Тогда тоже был май, и Натали, гуляя по цветущему, всеми ветрами обласканному городу, все чаще видела, как улыбаются ее отражения в витринах. Та, другая женщина, обитающая в блистающем застекольном мире, с каждым днем нравилась ей все больше. Иногда Натали подходила поближе, делала вид, будто разглядывает выставленные товары, а на самом деле пытливо всматривалась в собственное отражение. «Кто ты такая? — думала она. — И кто такая я? Мы действительно одно и то же? Хорошо, если так».

Антикварная лавка на бульваре Вокечю только потому и привлекла внимание Натали, что стекло в ее витри-



не было толстое, двойное, причудливо искривленное временем. И отражение получилось непростое: многослойное, текучее, переменчивое, несколько почти не похожих друг на друга затуманенных лиц, множество рук, гибких, тонких и толстых, а в том месте, где положено быть сердцу, располагались большие настенные часы — одни на всех. Натали глядела на них как завороженная, не понимая — откуда взялись? «У меня же нет ничего, кроме сумки». Потом, конечно, поняла, что часы не отражаются, а просто стоят за стеклом. Она сделала шаг в сторону, намереваясь уйти, и ощутила непривычную пустоту в груди, как будто оттуда только что извлекли нечто теплое и тяжелое, а взамен ничего не положили. Почти испугалась, почти обрадовалась неизвестно чему и, запутавшись в этих противоречивых чувствах, сама не заметила, как вошла в лавку.

По законам жанра за прилавком должен был стоять ветхий старик со следами былой импозантности на поношенных лице и костюме, но там хозяйничала совсем юная барышня, полная и румяная. От смущения Натали зачем-то поинтересовалась ценой выставленных в витрине часов. Оказалось — сущие копейки. Красивая интерьерная вещь, но не то чтобы ценная для коллекционеров, к тому же относительно новая, двадцатые годы... кажется...

— Папа что-то такое говорил, — щебетала продавщица. — Кроме того, часы не совсем исправны. Впрочем, их, конечно же, можно починить, и вряд ли ремонт

обойдется дорого, механизм совсем простой, никаких секретов старого мастера; оно и к лучшему.

Натали растерянно слушала, кивала в нужных местах. Зачем-то полезла в сумку за кошельком. Пересчитала деньги. Отдала. Из лавки она вышла, прижимая к груди тикающий сверток. К тому месту, где положено быть сердцу.

Натали была так удивлена собственной выходкой, что даже не стала корить себя за бессмысленную трату. Допустим, я просто потеряла кошелек, решила она. И закрыла тему.

Только дома Натали поняла, в чем, собственно, заключается обещанная «не совсем исправность». Часы шли назад. Некоторое время она провела, сверяя их ход с верным будильником, чудом пережившим ее студенчество, замужество, развод и несколько соответствующих переездов. И выяснила, что часы еще и спешат. Или отстают? В общем, их стрелки бежали назад значительно быстрее, чем стрелки будильника — вперед. «Вот уж действительно простой механизм. Никаких секретов старого мастера, — думала Натали. — Более бестолкового предмета в жизни не видела. Зато красивые! Причудливый узор, образованный птицами, похожими на сов, и тонкими, ломкими циркулями. Под циферблатом — старик с серпом в руке, глядит строго, но, похоже, доброжелательно. Вполне можно с ним поладить, — подумала Натали. — Пусть присматривает за мной, раз больше некому».

Она окончательно развеселилась и повесила свое дурацкое приобретение над кроватью; впрочем, в ее крошечной студии куда ни повесь, все равно получится в той или иной степени над кроватью — если только не прямо над плитой. Будильник же убрала в шкаф — неслаженное хоровое тиканье действовало ей на нервы. А ежеутренний звон можно услышать и оттуда. Поди его не услышь.

Натали опасалась, что звонкий, торопливый ход новых часов не даст ей спать, однако он, напротив, успокаивал, утихомиривал мысли, замедлял дыхание, маленький ночной мир кружился под закрытыми веками, как разноцветный зонт Оле-Лукойе, как детская карусель с лошадками, как старый калейдоскоп в расслабленных руках. Натали уснула, едва ее голова коснулась подушки, а проснулась на рассвете, задолго до звона будильника, от острого ощущения счастья. Она никогда прежде, даже в детстве, не испытывала ничего подобного, но сразу поняла, что это — именно счастье и есть. А как еще назвать самое замечательное, что только может твориться внутри человека без каких бы то ни было видимых причин?

«Жизнь, — сказала она себе, поставив на плиту чайник. — Похоже, это и есть та самая жизнь, о любви к которой так часто пишут в книгах. Всегда думала, они... э-э-э... несколько преувеличивают. Теперь — верю. Интересно, так будет всегда?»

Было, конечно, по-разному. Особенно после того, как у Натали стали появляться новые знакомые, один из

которых предложил ей поработать в только что открывшейся художественной галерее. Она, не раздумывая, согласилась и никогда, даже в минуты слабости, не жалела о своем решении. Прежде Натали не предполагала, что работа может быть настолько захватывающей. Конечно, невозможно непрерывно испытывать счастье, когда у тебя десятки дел, а вокруг постоянно крутится столько людей, что ими можно заселить целый провинциальный городок. Но вполне достаточно каждое утро просыпаться счастливой, а там — как бог даст.

Пять лет спустя Натали отмечала свой сорок седьмой день рождения и принимала комплименты. Она знала, что друзья, уверяющие, будто ни за что не дали бы ей больше тридцати, почти не привирают. Придирчиво разглядывая себя в зеркале, думала: ну, пожалуй, все-таки больше. Чуть-чуть. Тридцать пять — максимум.

Впрочем, еще через пару лет Натали была вынуждена согласиться с окружающими — больше тридцати не дашь, действительно. «Даже как-то неприлично настолько молодо выглядеть, — думала она. — Приятно, конечно, спору нет, но еще немного, и меня заподозрят в подделке документов. И как, интересно, я стану выкручиваться?»

Она-то давно начала догадываться, в чем дело. Собственно, уже в самое первое утро *знала*, что за часы ей достались, просто поначалу старательно прятала это знание от себя. И теперь прекрасно понимала, что следует продолжать в том же духе, по крайней мере вслух

о часах даже не заикаться. Все равно никто не поверит в такую чушь, только славу новой городской сумасшедшей наживешь.

А потом Натали познакомилась с Тимо.

Кофе выпит, но Натали пока не хочется идти домой. Она заказывает бутылку газированной воды, медленно переливает в стакан звонкую смешливую влагу. Достает сигарету, прикуривает, косится на окно кафе — как там ее отражение? Тоже закурило? Вот и молодец.

Стекло, конечно, давным-давно не то. Новые владельцы помещения первым делом заменили окна и только потом принялись за полы и стены. «Интересно, — думает Натали, — хоть кто-нибудь кроме меня помнит, что на месте этого кафе когда-то была антикварная лавка? Возможно даже, самая первая в городе. Или нет? Ай, неважно. Первая, двадцать пятая. Главное, что она была».

Кафе на месте лавки получилось не слишком удачное. По крайней мере, совершенно не в ее вкусе. «Потому и процветает, что не в моем», — язвительно думает Натали. Но — ладно. Она заходит сюда не слишком часто, но регулярно. Пиво не любит, поэтому безропотно пьет скверный кофе или просто газированную воду, как сейчас. Это называется паломничество. Глупость, конечно, но для Натали — важно. Сегодня — особенно.

«Если бы я знала себя немного хуже, заподозрила бы, что просто боюсь возвращаться домой, — думает Натали. — Где больше нет часов, и никакой разноцветной

карусели на ночь, и сны самые обыкновенные, мои дурацкие пустые сны. Но — нет. Не боюсь. Я, похоже, больше вообще ни черта не боюсь».

«Эй, с каких это пор ты у нас такая храбрая? — насмешливо спрашивает она себя. — Впрочем, совершенно не имеет значения, с каких пор. Важно, что это — уже навсегда».

Натали машет рукой официантке, кладет на стол деньги и уходит, победно размахивая сумкой, чтобы доставить удовольствие собственным отражениям, разбежавшимся по всем окнам и витринам бульвара Вокечу. «Я люблю тебя, Тимо, — думает она. — *Я люблю тебя до луны и обратно*, как написано на чашке с глупыми прекрасными зайцами, которую ты мне подарил. Мы и сами те еще глупые зайцы, Тимо. Я люблю тебя. Все будет хорошо».

Это была любовь с первого взгляда, причем не на самого Тимо, а на его картину. В галерее, где работала Натали, решили устроить ретроспективную выставку «Пограничников», группы художников, известных в шестидесятые — семидесятые годы среди немногочисленных адептов так называемого неофициального искусства, но совершенно забытых сейчас. Затея с выставкой в итоге накрылась медным тазом, но несколько работ успели отыскать, привезти в галерею, и перед одной из них Натали стояла соляным столбом, забыв о времени, текущих делах, ежеминутно трезвонящем телефоне и даже неудоб-

ных новых туфлях, необходимость избавиться от которых стала очевидна примерно через полчаса после выхода из дома. Но какие уж тут туфли. Стояла, смотрела на смутный силуэт, текучий и подвижный, как ее отражения в кривых стеклах старых окон, звонкий, как льющаяся в стакан вода, сияющий, как вишневый цвет, озаренный предзакатным солнцем. Наконец спросила коллегу: интересно, художник еще жив? Еще как жив, последовал ответ. Невероятный старик, теперь таких не делают.

«И прежде таких не делали, — думала Натали в тот вечер, когда впервые возвращалась домой от Тимо. — И никогда не будут. Он, похоже, один такой на всем свете. Штучная работа. И глаза у него золотые — ну надо же. В жизни таких не видела».

«Самые обычные карие глаза. Просто очень удачно выцвели, — смеялся Тимо в ответ на ее восторги. — Иногда время делает людям неожиданные подарки. Но забирает, в любом случае, гораздо больше».

Они сразу стали друзьями. Впрочем, Тимо утверждал — не просто сразу, а еще задолго до знакомства. «Мы с тобой даже дышим в одном ритме, — говорил он. — Как одно существо, зачем-то разделенное пополам. Глупые, бестолковые, заплутавшие во времени половинки. Всегда знал, что ты где-нибудь есть. Только не подозревал, что во внучки мне годишься. Как же не повезло».

«На самом деле всего лишь в дочки», — думала Натали. Но язык держала за зубами. Нелепо доказывать, что ты на добрых двадцать лет старше, чем кажешься. Еще

более нелепо объяснять, почему так вышло: видишь ли, любовь моя, в один прекрасный день я зашла в волшебную лавку на бульваре Вокечю и сдуру купила там очень недорогие, но чрезвычайно чудесные часы, возвращающие своим владельцам молодость. А теперь, пожалуйста, помоги мне завязать рукава моей новой смиренной рубашки. Большое спасибо, дорогой друг.

Вместо этой правды Натали говорила другую: «Я люблю тебя, Тимо. Я люблю тебя, как дурацкий заяц на твоей чашке, *до луны и обратно*». Он кивал: «Знаю, потому и жив до сих пор». Насмешничал: «В следующий раз будь любезна родиться вовремя, копуша ты этакая, потому что две жизни без тебя кряду — это уже чересчур. Мне и одной с головой хватило».

«Без меня? Ну уж дудки! — весело думает Натали, спускаясь вниз, к мосту через Вильняле. — Лет через десять я, видимо, опять буду выглядеть почти на сорок. Это не беда, если верить фотографиям в документах, в сорок я была вполне ничего. Надеюсь, тебе тоже понравится. И еще я надеюсь, что через десять лет у нас уже будет общая кровать. И прочее общее имущество. В частности, неисправные настенные часы. А когда я стану подростком, от них, пожалуй, все-таки придется избавиться. Но до этого дня еще ой как далеко. Придумаем что-нибудь».

Тимо спит. Он глубоко дышит во сне.

# Улица Гаоно

G a o n o g.



## Спящие полицейские

Шел ночью по городу, хмельной, невесомый, почти крылатый, сам с собой не знакомый, как всегда бывает после самого первого счастливого свидания, которое вполне может стать началом совершенно новой жизни, а может и не стать, но неизвестность пока не тревожит, а только сладко кружит голову, как высота.

Можно было бы остаться у Яси до утра, но портфель с необходимыми на работе документами лежал дома, любимая бритва и неизбежный офисный костюм обитали там же, поэтому часа в три ночи все-таки пришлось одеться и выйти в хрустящую, светлую от снега и лунного света ночь.

Тонкое пижонское пальто не грело совершенно. Радость, напротив, грела — первые три квартала. Потом зубы легонько лязгнули, а еще несколько минут спустя выдали уверенную, почти профессиональную дробь. Вызывать такси казалось идиотизмом: до дома отсюда минут семь быстрым шагом, ждать машину придется

дольше. Но эти семь минут в любом случае надо было как-то пережить.

Нащупал во внутреннем кармане плоскую серебряную флягу с коньяком. Как и пальто, она была данью скорее пижонству, чем необходимости. Однако сейчас оказалась как нельзя более кстати. Три небольших глотка изменили все: звонкий морозный мир, и без того вполне прекрасный, стал совсем уж восхитительным пространством рождественской открытки, этаким фрагментом уютного ледяного рая для праведников Крайнего Севера, после смерти не пожелавших менять привычные климатические условия. Следовало в любую минуту ожидать появления толстых снегирей, клюющих золоченые шишки, оленей с серебряными рогами и румяного Санты с мешком подарков.

Однако, свернув на улицу Гаоно, не увидел там ни оленей, ни снегирей. Поначалу даже удивился. Принялся оглядываться по сторонам — да где же они? Споткнулся. Чуть не упал, но все-таки удержался на ногах, не столько благодаря ловкости, сколько из твердой уверенности, что в волшебном мире рождественских открыток нет места синякам, шишкам и прочим досадным неприятностям. Посмотрел под ноги и увидел невольного обидчика — присыпанный снегом черный каучуковый бугорок, искусственное препятствие для автомобилей, чтобы не разгонялись. Вспомнил: такие штуки называют лежачими полицейскими — и немедленно преиспол-

нился сочувствия. Как же плохо быть полицейским! Особенно лежачим. Собачья работа. Такая прекрасная, невыносимо холодная лунная ночь, а бедняга на посту. Ни тебе на свидание сходить, ни дома под теплым одеялом поваляться, ни коньячку хлопнуть. Очень несправедливо.

Покаянно подумал: «Не всем так повезло в жизни, как тебе». Расчувствовался. Снова достал из кармана флягу, плеснул немного коньяку на черную резину. Сказал: «Твое здоровье, Альбертас!» С чего взял, что лежачего полицейского зовут именно Альбертасом, неизвестно. Но откуда-то знал это без тени сомнения, как и положено безмятежным подвыпившим дуракам.

Утверждать, будто услышал в ответ: «Спасибо», было бы некоторым преувеличением. Вслух, по крайней мере, никто ничего не говорил. И пресловутые «голоса в голове» определенно не звучали. Только некое невнятное ощущение, почти физическое, как будто не то руку на плечо положили, не то в ухо вздохнули, так сразу не разберешь. В жизни каждого человека подобных смутных ощущений полно. Чтобы придавать им значение, нужно быть счастливым идиотом, захмелевшим от нескольких капель коньяка на морозе.

Таким, собственно, и был.

Сказал: «Хорошей ночи, Альбертас» — и пошел дальше.

С тех пор лежачие полицейские стали чем-то вроде личного мини-наваждения. Или игры. Всюду их замечал, хоть и ходил пешком, за руль садился только ради поездок за город и еженедельных закупок в супермаркете. Однако лежачих полицейских видел теперь издалека. И откуда-то знал, как их всех зовут. Ну то есть сам придумывал им имена. Наверное. Поди разбери, как оно в голове устроено.

Например, на улице Гаоно кроме Альбертаса имелся еще и Арвидас, метра в двадцати от коллеги. На Чюрлёнё, неподалеку от работы, лежали Римас и пан Бучонис, такой солидный, что звать его по имени оказалось совершенно невозможно, только по фамилии, уважительно, с вежливым полупоклоном. На Бокшто, за углом от Ясиного дома дежурил Йонас, один, без напарника. Возле большой «Максимы»\* на Миндауго — Мантас и Джордж; о последнем каким-то образом было известно, что он приехал из Америки по программе обмена лежачим полицейским опытом да так и застрял в Вильнюсе. Нравится ему тут.

И так далее.

Йонас, Альбертас и Арвидас, которых встречал почти каждую ночь, возвращаясь от Яси, быстро стали чем-то вроде приятелей. Они были свидетелями всех радостей

---

\* Сетевой супермаркет.

этой зимы. Радостей оказалось так много, что еще чуть-чуть — и, того гляди, разучился бы касаться земли при ходьбе.

Зима же выдалась лютая, с детства такой не помнил. Тонкое пижонское пальто пришлось сменить на старую дубленку, тяжелую, как Сизифов камень; Яся подарила модную вязаную шапку с длинными, украшенными кисточками ушами; дома нашелся старый кашемировый шарф, теплый до изумления; последним стратегическим маневром стало приобретение ботинок на два размера больше, под них можно было надевать купленные на рынке носки из толстой шерсти. Ходить по улицам стало не то чтобы комфортно, но — вполне возможно. Уже немало.

Сочувствие к лежачим полицейским росло по мере понижения температуры. Они, конечно, не теплокровные. И не то чтобы такие уж органические. Их счастье. Когда термометр показывает минус двадцать пять, неорганическая жизнь — лучшее решение. А все равно жалко ребят. Альбертаса, Арвидаса, Йонаса, Римаса, пана Бучониса, Мантаса и Джорджа. Джорджа особенно. Приехал, понимаешь, по обмену в страну с умеренным климатом, среднегодовой температурой плюс шесть, теплой (теоретически) зимой и прохладным летом. А тут — сюрприз, сюрприз! Во попал мужик.

Фляга с коньяком по-прежнему всегда была с собой, во внутреннем кармане. И редкий вечер теперь обходился



без глотка-другого, потому что Яся непременно тащила гулять, хоть на полчаса, ее тоже распирало от счастья, и прогулки по морозу помогали остудить горячую голову до совместимой с жизнью температуры. И путь от Яси домой тоже никто не отменял, возвращался от нее не каждый день, но довольно часто, обычно за полночь, когда мороз особенно лют.

Сразу за порогом делал глоток, выливал несколько капель на едва заметный под смерзшимся снегом бугорок: «Твое здоровье, Йонас!» И потом, на улице Гаоно, снова доставал флягу. «Арвидас, Альбертас, за вас, ребята!» Отпивал сам, щедро делился с лежащими полицейскими. Альбертасу обычно доставалось чуть больше, как старейшему другу, единственному свидетелю самой первой счастливой ночи, завершившейся прогулкой от Яси домой.

Не то чтобы всерьез полагал, будто каучуковым сооружениям действительно так уж необходим коньяк, чтобы согреться. И не настолько заигрался, чтобы считать лежащих полицейских заколдованными (к примеру) людьми. Просто такой ритуал. Случайно, по вдохновению сложившийся и потому особенно важный. Вылитый коньяк становился чем-то вроде благодарственной языческой жертвы. Возвращаться за полночь от Яси и не говорить за это «спасибо» было бы свинством. Абсолютно все равно кому, лишь бы говорить.

Однажды, выплеснув из фляги коньяк: «Твое здоровье, Альбертас», почувствовал, как на плечо опустилась тяжелая рука. Вздвогнул, обернулся и обмер: рядом стоял самый настоящий полицейский. То есть не лежащий. Не резиновый. Живой. По-крестьянски кряжистый и, судя по выражению лица, флегматичный. За спиной маячил напарник, вернее, напарница. Маленькая женщина с копной густых волос, выбивающихся из-под форменной шапки. Чуть поодаль, возле ресторана «Стиклю», был припаркован патрульный автомобиль. И как раньше его не заметил? Вот растяпа.

— Вы что такое делаете? — с упреком спросил полицейский.

Чуть не сгорел от стыда, представив, каким idiotизмом все это выглядит со стороны. Так растерялся, что сказал правду:

— Такой мороз, что кажется — даже им холодно. Не могу спокойно смотреть, как кто-то мерзнет. Даже если он — просто лежащий полицейский.

— Спящий, — сказала женщина.

Растерянно переспросил:

— Что?

— Спящий. От английского «sleeping policeman». Это уже потом их стали называть лежащими или даже мертвыми. Не знаю почему. По-моему, «спящий» — лучше.

Зачем-то повторил:

— Sleeping policeman. — Глубокомысленно добавил: — Ну надо же, как интересно. Буду знать. — И совершенно некстати процитировал: — *...и если сон кончает тоску души и тысячу тревог, нам свойственных, такого завершения нельзя не жаждать\**.

Совсем дурак. Нашел время и место блистать интеллектом. Шекспир-то тут при чем.

Окончательно смутился и умолк. Думал — навек.

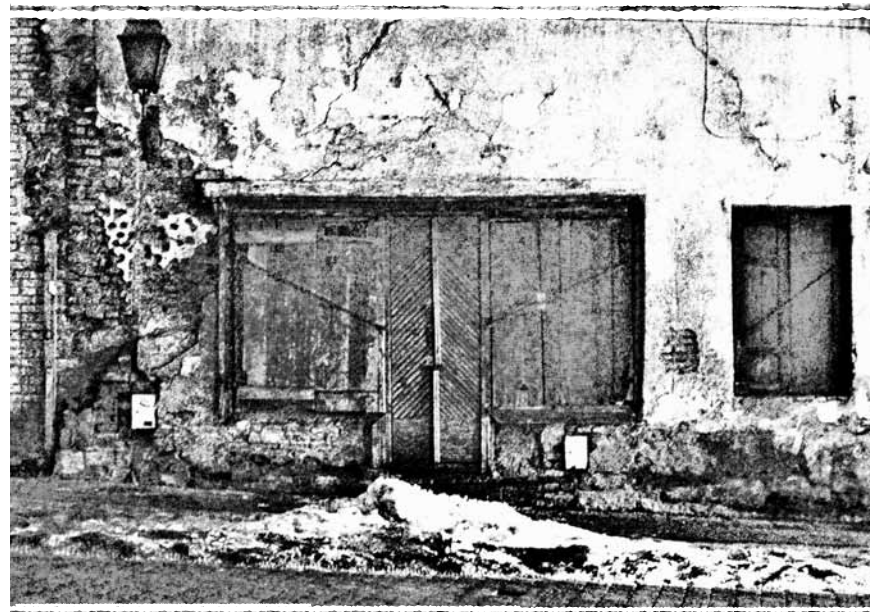
Зато заговорил полицейский.

— Приятно видеть такое великодушное отношение к нашим коллегам, — сказал он. — Однако ребята при исполнении, им сейчас ничего крепче кофе не положено.

Обрадовался. Если сторонний человек подхватывает твою шутку, значит, не считает ее безнадежно глупой. Или, хуже того, бредом сумасшедшего. Если же твою шутку подхватил полицейский, это равносильно справке о полной, абсолютной, почти сверхъестественной нормальности. Вот и хорошо.

Решил ответить в том же духе:

— Ну, капельку-то на таком морозе можно. Я вон всего пять минут назад вышел, а уже продрог. А они круглосуточно тут лежат, бедняги. И никто не позаботится...



---

\* Монолог Гамлета в переводе Владимира Набокова.

— Как это — «никто»? — перебил его полицейский. — А мы на что? Неужели думаете, оставим своих коллег без горячих напитков?

— Вот кстати, — вмешалась женщина. — Термос-то так и лежит на заднем сиденье. Сходи, а? Он тяжелый.

— Тебе все тяжелое, — добродушно проворчал ее напарник и пошел к машине.

— Альгирдас — зануда. На самом деле капля коньяку в такой мороз еще никогда никому не вредила, — шепотом сказала женщина. — Даже при исполнении. Вы молодец.

Улыбнулся. Протянул ей флягу.

— Похоже, я прикончила ваши запасы, — сказала она, сделав глоток. — Обычно я не такая бесцеремонная, но мороз плохо влияет на манеры. Если будете думать, кого проклинать, знайте, что меня зовут Таня, и с этого дня я ваша вечная должница.

Хотел сказать — какие пустяки, там почти ничего не было. Но тут вернулся полицейский Альгирдас с большим, как минимум пятилитровым, термосом.

— Спасибо, друг, — сказала Таня и принялась отвинчивать крышку.

Из термоса повалил густой кофейный пар.

Никогда не любил кофе, но тут слюнки потекли.

Думал, они сейчас предложат выпить пару глотков. Решил — не стану отказываться, даже если до утра потом не усну.

Однако не предложили. И сами не стали пить. Вместо этого Альгирдас снова подхватил теперь уже открытый термос и, приговаривая: «Видите, мы своих ребят на морозе без горячего не оставляем», принялся поливать кофе черный каучуковый бок Альбертаса.

# Проспект Гедиминаса

Gedimino pr.



## Совершенно черный кот

— Здесь мед у всех отличный, — тараторит Бета. — Но поскольку у тебя ограниченная грузоподъемность, плюнем на все, кроме белого рапсового. Я уж на что к сладкому равнодушна, но от этого меда меня за уши не оттянешь. И такая чудная бабулька его продает, в шляпке и ажурных митенках, не то принцесса в изгнании, не то добрая фея на пенсии; обычно во-о-он там сидит, идем, посмотрим.

Лена покорно кивает — пусть будет фея, как скажешь.

Ей вовсе не хочется покупать мед. В том числе рапсовый. «Рапс — это же вроде бы сорняк, типа сурепки, — думает она. — Или нет? Ай, какая разница».

Сейчас — точно никакой. Потому что у Лены — туфли. Даже не так — ТУФЛИ! Новые, на каблуках. Надевать их, выходя из дома на весь день, было большой ошибкой, это она уже давно поняла. Но виду не подает. Бета еще с утра ворчала — какая может быть прогулка на таких каблучищах? И совала какие-то свои разношенные тапки, Лена в таких мусор выносить постеснялась бы.

Признавать, что Бета была совершенно права, совсем не хочется. Старшая сестра — это такое специальное божье наказание. Она всегда оказывается права. Со временем от этого начинаешь уставать. Усталость накапливается, даже когда живешь в другом городе и видишь сестру всего раз в году. Чемодан на перрон поставить не успеешь, а она уже говорит, вместо «здрасьте»: «Надо было брать на колесиках». И ведь не поспоришь. То есть спорить-то можно сколько угодно, но ослепительно красивый новый кожаный чемодан даже до такси тащить тяжело, и страшно подумать, каково будет с ним уезжать, потому что придется переть домой неизбежные подарки, как минимум, вдвое больше, чем привезла с собой. Бета совершенно права, надо было брать старый чемодан на колесиках, и плевать, как он выглядит, лишь бы тяжесть не таскать.

А потом сестра говорит еще что-нибудь чрезвычайно разумное, и еще, и еще, и уже на следующее утро хочется сбежать от нее на край света, хотя весь год скучала и сама, по своей воле, в гости приехала, никто не заставлял.

— Ты чего кислая такая? — обеспокоенно спрашивает Бета. — Устала? Загоняла я тебя? Бедный ты мой ребенок.

Бета — очень хорошая сестра. Только невыносимо старшая. Поди пожалуйся такой на чертовы туфли, тут же услышишь: «Ну я же говори-и-и-ила» — и жуткие стоптанные тапки снова станут реальной угрозой Ле-

нинуму ближайшему будущему, и без них вполне безотрадному.

Поэтому Лена неопределенно пожимает плечами.

— Просто я не очень люблю ярмарки, — говорит она. — Хотя эта ваша вполне милая, и народу совсем немного.

— Купим мед, — говорит Бета, — и сразу пойдем пить кофе. Здесь рядом, прямо на проспекте, отличное кафе... Ой, смотри!

И останавливается как вкопанная напротив стенда, увешанного картинками с котами. А также котятами, спасибо хоть не в лукошках. И даже без бантиков. Вполне можно было бы пережить, если бы автор дал себе труд закончить хотя бы пару классов детской художественной школы. А то уж больно кривобокие у него коты. Смотреть больно.

— Ты не представляешь, как нам повезло, — говорит Бета.

Рехнулась, не иначе.

— То есть свой единственный шанс поглазеть на картинку с котиками мы каким-то чудом не профукали, — вздыхает Лена. — Жизнь прошла не зря. Будет о чем на смертном одре вспомнить.

И косится на художника — не обиделся ли? Впрочем, поделом.

Но художник, невысокий мужичок в мешковатом джинсовом комбинезоне, с собранными в хвост пегими волосами, не обращает на них никакого внимания.

Сидит, насупившись, на складном стуле, малюет что-то на картонке с неровно обрезанными краями. Надо полагать, очередного кривомордого кота, на радость мировой культуре.

— Да ну тебя! — отмахивается Бета. И шепчет, почти касаясь губами уха: — Впервые его здесь вижу, обычно он в другом месте стоит.

Вот и стоял бы себе там дальше, раздраженно думает Лена. Если бы не его котятки, я бы уже сидела в кафе. Сидела бы. Си-де-ла. Там наверняка можно спрятать ноги под стол и незаметно снять туфли. Туфли, о господи.

Но вслух она говорит:

— Картинки у него, по-моему... э-э-э-э... немножко слишком любительские.

Старательно подбирает выражения. Чтобы не обидеть Бету, если уж с бедняжкой случилось такое ужасное несчастье и ей вдруг стали нравиться котики, нарисованные левой задней ногой. В лучшем случае правой. Но определенно задней, надо смотреть правде в лицо.

— «Любительские» — еще мягко сказано, — невозмутимо кивает Бета. — Но в данном случае это совершенно неважно. Штука в том, что именно этот художник рисует наших городских котов.

— Ну, я, в общем, и не предполагала, что парижских, — пожимает плечами Лена.

Она начинает сердиться.

— Ты не поняла, — говорит Бета. — Все наши городские коты появились только потому, что он их нарисо-

вал. А не наоборот, как это обычно бывает. Я, конечно, имею в виду уличных котов. С домашними совсем другая история.

«Очередная сказочка, — думает Лена. — В пять лет я их обожала. Ладно, положим, и в десять обожала. И даже в пятнадцать не отказывалась послушать. Но блин! Сейчас-то мне тридцать два. Я уже такая взрослая тетка, что самой страшно. А ты, моя дорогая сестренка, на семь лет старше. Приличные люди столько вообще не живут. А все туда же. Сказочки. Художнички. А теперь вот котики. Котятки. Помоги тебе Бог».

— Очень мило, — кисло говорит она. В надежде, что это прозвучит как «прекращай молоть чушь». И лицо делает соответствующее, чтобы Бету проняло.

— Я тоже не поверила, когда мне рассказали, — улыбается Бета. — Но потом увидела, что...

Не проняло.

Лена вздыхает и говорит:

— Мне кофе очень хочется. Пойдем, а? Коты — потом. И мед — потом. А сейчас — кофе. Ладно?

— Ох, прости. — Бета машинально прикладывает руки ко лбу. Этот жест у нее означает крайнюю степень смущения. — Сама же обещала, что пойдем в кафе, и уже из головы вылетело. Трудно со мной, да?

— Ай, ничего, с собой мне еще труднее, — говорит Лена. Сама не знает зачем.

Она даже не уверена, что это правда.

Мужичок в комбинезоне — назвать его художником у Лены язык не поворачивается — внезапно встает и направляется к ним. «Услышал небось, что потенциальные покупательницы собрались уходить, вот и засуетился. И сейчас он станет предлагать нам воскресную скидку, три котика по цене двух, — думает Лена. — А еще лучше — дюжину по цене десятка. Чего мелочиться?»

Но мужичок ничего не говорит. Молча показывает только что дорисованную картинку — на ярко-голубом, предположительно небесном фоне сидит совершенно черный кот. Вроде бы даже не такой ужасный, как остальные. Набил, получается, человек руку. Все-таки упорный труд кому угодно на пользу.

Художник глядит на Лену. Глаза у него такие же голубые, как небо на картинке. Левый почти вдвое больше правого. Как будто сам себе их с утра нарисовал — как умел. «Это было бы даже справедливо, не все же котикам за его кривые руки отдуваться», — думает Лена. И едва сдерживает нервный смешок.

«Ну чего он на меня уставился, — сердито думает она. — Гипнотизирует, что ли? Чтобы я все картинки оптом купила? И уперла их на горбу в золотую даль? Какой ужас. Надо вот прямо сейчас развернуться и уйти, — думает Лена. — Бета потом догонит, никуда не денется». Но почему-то стоит на месте и смотрит поочередно — то на голубоглазого художника, то на портрет совершенно черного кота. Думает: «Вот хоть стреляй, все равно не куплю, и за десять литов не куплю, и даже за пять.



Иди в жопу, непризнанный гений. Мне и без тебя не-  
сладко. У меня — туфли. И ничего, кроме туфель. Тебе,  
впрочем, не понять».

Но, похоже, он все-таки не гипнотизировал. По край-  
ней мере, непреодолимого желания купить картинку  
у Лены так и не возникло. Преодолимого, впрочем, тоже.

Художник отвернулся и снова занялся своим рисун-  
ком. Взялся зачем-то подправлять небесный фон, неча-  
янно мазнул голубой краской по кошачьему уху. Но,  
похоже, совершенно не огорчился. Наоборот, вдруг  
разулыбался и, так и не закрасив пятно, поставил ис-  
порченную картинку к другим, теоретически готовым.  
И то верно. Какая разница.

«Псих, — устало думает Лена. — Впрочем, для психа  
у него слишком обаятельная улыбка. Так что нет, самый  
обычный разгильдяй. И бездарь в придачу. И бессос-  
вестный халтурщик. И черт бы с ним».

— Идем уже отсюда, — говорит Лена. И для убедит-  
тельности тянет сестру за рукав, как в детстве.

Выбравшись с уставленной ярмарочными лотками мо-  
стовой на тротуар, они идут туда, где призывно полощут-  
ся на ветру полосатые тенты кафе. Из-за угла навстречу  
им неспешно выворачивает здоровенный, совершенно  
черный кот с ярко-голубым ухом.

— Это как? — растерянно спрашивает Лена. — Это  
он нарочно? Это шутка такая, да?

Бета хохочет.

— Конечно шутка, — сквозь смех говорит она. — Ну  
надо же, какая ты везучая! У нас тут не с каждым так  
шутят.

Но Лена ее не слышит. Она смотрит на дурацкого, вы-  
мазанного краской кота, который разлегся на тротуаре,  
на самой границе между светом и тенью, аккуратно раз-  
делившей пополам его несуразно длинное тело.

А кот глядит на Лену, да так внимательно, словно это  
не у него, а у нее внезапно выросло вызывающе синее  
ухо. Возможно, даже на лбу.

Под его взглядом Лена окончательно теряется. Со-  
вершенно непонятно, как себя вести, когда на вас  
столь бесцеремонно пялится нелепый, только что на-  
спех нарисованный кот.

— Дурацкие туфли, — наконец говорит она сест-  
ре. — Ты была совершенно права, не стоило их наде-  
вать. Весь день мне испортили.

Лена разувается, усевшись прямо на тротуар, щупает  
босыми ногами теплый асфальт, как осторожный купаль-  
щик воду, тихонько вздыхает от облегчения, сердито, как  
в детстве, трет кулаками мокрые глаза, встает и идет.

— Ну ты подорвала! — восхищается Бета. — Меня  
подожди!

Совершенно черный кот с небесно-голубым ухом ка-  
кое-то время глядит им вслед, потом отворачивается  
и принимается вылизывать лапу.





## Улица Даукшос

M. Daukšos g.

### Черные и красные, желтые и синие

«Лето, — думает Тереза, проснувшись среди скомканных, влажных от пота простыней, — еще одно дурацкое лето. Вот почему, почему в апреле всегда кажется, еще немножко, и все наконец-то будет хорошо. И в мае, когда начинают цвести вишни, кажется: да-да-да, вот-вот-вот, оно, оно, еще чуть-чуть — и... И! Неизвестно что, непонятно как, неведомо зачем, но будет-будет-будет, сбудется, и тогда начнется настоящая жизнь, сейчас и вообразить невозможно, какая она, только тосковать оттого, что еще не началась.

Но вместо неизвестно чего наступает просто июнь, а потом июль, постепенно становится жарко, поначалу радуешься, что наконец-то можно спрятать куртку в шкаф, выскакивать из дома в майке и шлепанцах, а потом на радость не остается сил, их вообще ни на что не остается, жара изматывает, по крайней мере городская жара, и никакая река не спасает, не спасают даже

две реки, была бы третья, и это, пожалуй, ничего бы не изменило».

Говорят, в жару надо пить зеленый чай. Ерунда. В жару надо пить кофе. Кофе, впрочем, надо пить всегда и везде, при всяком удобном случае, он превращает существование в жизнь — это Тереза знает точно. Но в жару кофе надо пить в два раза больше, чем обычно, если не хочешь целый день проваляться в постели ватным чучелком, сердитым, горячим, мокрым от пота чучелком, бр-р-р-р.

«А вот кофе-то в доме и нет. Ну как — нет, две чайные ложки, неприкосновенный утренний запас, на одну чашку. Но это — все. Потом придется бежать в лавку, в самый солнцепек, не откладывая до наступления прохлады, потому что до вечера на одной чашке не продержаться. Вернее, продержаться-то можно, а вот работать уже не получится. А перевод надо сдавать завтра. А с четырех до одиннадцати смена в кафе, нашла подработку на свою голову, корова, жадина несчастная, — ругает себя Тереза, — еще одно лето псу под хвост, а платят там копейки, и чаевые, на которые так рассчитывала, оказались копеечные, а время уходит, лето заканчивается, жизнь твоя тратится на ерунду, и другой жизни у тебя, между прочим, нет, ты в курсе?»

Тереза в курсе. Но это ничего не меняет. В любом случае работа нужна, спасибо еще, что в кафе летом людей всегда не хватает. Переводов летом мало, заработка ед-

ва хватает на оплату жилья, а на что покупать еду и кофе? То-то и оно. «Кофе, кофе, где же ты, мой кофе, — вздыхает Тереза, допив последний глоток. — Ладно, ничего, сейчас сбегаю».

Перед тем как выйти из дома, она умывается холодной водой и, не вытираясь, выскакивает на улицу, с мокрым лицом, влажными волосами, в забрызганной футболке. Первые пять минут будет полегче, а за это время, если постараться, можно добежать до улицы Пилес, хотя бы до лотков с сувенирами, где плавают на солнце янтарные бусы, того гляди, снова станут смолой, прольются на бульжную мостовую тяжкими, горячими каплями. Тереза бежит мимо не останавливаясь, у нее хорошее дыхание, она еще долго может так бежать, не любит, но может, чего уж там.

Кофейная лавка «Гурман» на другом конце Пилес, но улица короткая, ее даже пешком за три минуты можно пройти насквозь, а бегом — вообще не вопрос. Когда древняя старушка, торгующая на площади букетами синего цикория и оранжевых ноготков, поднимает наконец трясущуюся голову, чтобы обстоятельно ответить на традиционное «здрасьте», Тереза уже тянет на себя тяжелую деревянную дверь, заходит внутрь и с наслаждением ежится от холодного кондиционированного воздуха.

— Давно вас не было, — улыбается полная рыжая женщина, такая красивая, что у Терезы всякий раз дух

захватывает. Тереза совершенно уверена, что рыжая продавщица из «Гурмана» — бессмертная лисица-оборотень, как в старинных китайских новеллах. Мало ли что у нее муж, четыре дочери-школьницы, домик в Жверинасе и скучное имя Бируте, китайские лисы-оборотни тоже иногда развлечения ради селились среди людей и перенимали человеческие повадки, что им, бессмертным, какие-то сорок — пятьдесят лет, подумаешь.

— Я заходила недавно, — говорит Тереза. — Дня четыре назад. Просто вы в тот день не работали.

— Двести граммов кении, как всегда? — спрашивает рыжая.

— Сегодня триста. Я его в жару больше пью.

— Тогда сделаю вам два пакета, — кивает рыжая. — В один больше двухсот пятидесяти не помещается.

— Хорошо. А все, что не поместилось, смелите, пожалуйста, — просит Тереза.

Она всегда мелет кофе сама, непосредственно перед варкой. Но сегодня даже это делать лень, очень уж жарко.

Рыжая кивает, засыпает кофейные зерна в допотопный агрегат, антикварная машина издает нечеловеческий рык и ужасающий вой, но кофе мелет на совесть, не хуже, чем Терезина ручная мельничка, даже лучше, честно говоря. «Мельничке об этом знать не следует, — думает Тереза, — ни за что ей не скажу, а то обидится

и сломается, только дополнительных расходов мне сейчас не хватало».

На прощание рыжая продавщица-лиса протягивает Терезе леденец из зеленого чая. Такой презент полагается всем покупателям, по крайней мере всем постоянным клиентам, но Терезе приятно думать, что зеленая конфета — очень личный подарок, только для нее.

Обратно она идет медленно, глазеет по сторонам, напоминает себе: Вильнюс — очень красивый город, ты же с детства мечтала тут жить, с тех пор, как с классом на экскурсию приехала, и вот теперь живешь, у тебя, деревенской девчонки, есть мансарда в самом центре и работа, чтобы ее оплачивать, радуйся же, глупая, не переводи добро! Радость получается, прямо скажем, не очень искренняя, но даже такое настроение — гораздо лучше, чем обычная утренняя тоска. Кисловатый леденец перекачивается за щекой. «Вот тебе и завтрак, — думает Тереза, — отличный завтрак, щадящий кошелек и фигуру». Знакомая старушка на площади обрызгивает свои букеты водой из пластиковой бутылки с проделанной в крышке дырочкой. «И меня, — просит Тереза, — и меня!» Старушка укоризненно качает головой, дескать, не подобает одной элегантной даме просить о такой услуге другую элегантную даму, но просьбу исполняет, щедро поливает Терезу нагретой на солнце водой. «Je vous remercie», — говорит Тереза, прикладывая руку к мокро-

му сердцу, отпечатанному на футболке, и элегантные дамы — одна в обрезанных выше колена джинсах и тряпичных тапочках на резиновой подошве, другая в пожелтевшей от времени ажурной кофте и древней соломенной шляпе с пыльными розами — расстаются, довольные друг другом.

Миновав заставленную сувенирными лотками площадь, Тереза сворачивает на Бокшто, здесь всегда тень, можно подумать, жители этой улицы обладают какой-то специальной привилегией или просто скидываются и оплачивают дополнительную услугу, летнюю тень. «Но улицу Бокшто мы любим не только за это, — думает Тереза. — А еще, к примеру, за то, что во-о-он в том дворе, за высокими, потемневшими от времени деревянными воротами когда-то жил василиск. Чертовски приятно знать точный адрес василиска!» Веский повод для самоуважения. Двор ей показали друзья-старшекурсники, давным-давно, когда она только поступила в университет; ясно, что ребята просто шутили, но Терезе плевать, что сказано, то сказано, в любом случае реальность — это то, о чем я с собой разговариваю, думает она, а значит, василиск жил в этом дворе, и точка.

Возле Барбокана Тереза невольно ускоряет шаг — на крепостных стенах загорают студенты и туристы, их праздный вид служит ей напоминанием о собственных делах, которые никто за нее не сделает. Она неприязненно косится на загорающих — вот ведь бездельники, це-

лыми днями тут сидят, я бы на их месте... Что именно, Тереза не формулирует, и так ясно, она знает тысячу прекрасных способов распорядиться свободным временем, которого у нее никогда нет, черт, черт, черт! «И пиво с самого утра, — неодобрительно думает она, — пиво, с утра, в такую жару, и ведь совершенно добровольно, никто их не заставляет, бр-р-р-р».

Миновав Барбакан, она ныряет во двор. К ее дому на улице Даукшос можно пройти мимо заброшенных гаражей, а можно по тропинке, между чужими огородами и дровяными сараями. Тереза выбирает тропинку, через гаражи она сегодня уже ходила, результат налицо: все штаны в репьях и свежая царапина на щиколотке.

На тропинке нет ни репьев, ни чертополоха, зато здесь иногда встречаются соседи. Тереза не любит соседей. Здесь, в старых двухэтажных бараках, каким-то чудом сохранившихся в самом центре города, обитают те еще персонажи. Для Терезы они не столько живые люди, сколько неиссякающий источник отвратительных звуков. Пьяная ругань, детский визг да русский шансон — прекрасный набор. И все это, заметьте, с шести утра до двух часов ночи. У большинства алкоголиков проблемы со сном. «А уж какие проблемы со сном у их соседей, знал бы кто, — сердито думает Тереза. — А я-то еще удивлялась, что хозяйка так дешево мансарду сдает. Зря удивлялась, за такое прекрасное окружение еще литов двести надо бы скостить. И ведь даже ругаться с ними

бесполезно, таких ничем не напугаешь, вот уж кому действительно нечего терять, а если и захотят пойти на встречу, к вечеру забудут обещания, с памятью у них проблемы почище, чем со сном, вернее, у них-то как раз никаких проблем...»

«Вот не надо, никогда не надо заранее думать о неприятностях, — говорит себе Тереза. — Только подумаешь, а они — хлоп! — и материализуются у тебя на пути». Естественно на пути: тропинка перегорожена тремя ветхими табуретами, хороший хозяин такими камин топить и то побрезгует. На двух сидят дочерна загорелые мужички неопределенного возраста, больше похожие на крестьян, чем на городских забулдыг, на третьем установлена газовая горелка с баллончиком, греется вода в древней эмалированной кастрюльке. Еще один мужичок взирает на происходящее сверху, со ступеньки лестницы, ведущей на крышу дровяного сарая.

— О! — Завидев Терезу, он торжественно поднимает к небу палец. — Пани, вы замуж случайно не собираетесь?

— Спасибо, я уже, — сухо говорит Тереза. Вообще-то, после слова «уже» должно следовать слово «была». И уточнение: «Три года назад». Но говорить все это вслух Тереза не намерена. А то сразу выяснится, что у нее теперь есть целых три жениха, готовых — не факт, что вот прямо сейчас жениться, но уж выпить по случаю помолвки — непременно!



— Жалко, — говорит он. — А я-то думал, такая красивая пани, вдруг замуж собирается? А мы бы вам голубей к свадьбе организовали, по-соседски, недорого.

От удивления Тереза останавливается и внимательно смотрит на своего собеседника.

— Голубей к свадьбе? Это как? Их, что ли, теперь на свадьбах едят?

— Упаси боже, — басит один из сидящих внизу. — Еще чего. Голубей, пани, на свадьбах выпускают. На счастье.

— Надо же, — говорит Тереза. — А я и не знала. А у вас тут, получается, голубятня?

— Ну, — деловито кивает первый мужичок, тот, который сидит наверху.

— А почему никто не летает?

— А мы сюда только перебрались, — объясняет он. — Вот, сидим, новоселье отмечаем. Кофе варим. Хотите кофе?

Тереза с недоверием смотрит на эмалированную кастрюльку, в которой греется вода. Да уж, эти красавцы, пожалуй, наварят.

— Спасибо, — вежливо говорит она. — Не хочу.

Разворачивается, чтобы уйти, но в последний момент, не удержавшись, спрашивает:

— А... какие у вас голуби? Белые?

— И белые тоже, — охотно соглашается басовитый мужичок. — Всякие!

— Черные и красные. Желтые и синие, — подхватывает третий, который до сих пор молчал.

Тот, кто сидит наверху, начинает хохотать, да так заразительно, что Тереза тоже хихикает, прикрыв рот кулаком, как-то очень по-девчачьи, в смысле как в детстве, когда с тобой вдруг начинают шутить чужие взрослые, — и смешно, и стыдно, и немножечко страшно, бог весть почему.

«Хорошие какие мужички, — думает Тереза. — Голуби для свадеб, ну и бизнес! Придумали же...»

— А ну покажите, какой у вас кофе, — строго, чтобы скрыть смущение, говорит она.

С отвращением смотрит на полупустую пачку дешевой молотой дряни, пахнувшей лежалыми опилками, — и ведь некоторые люди совершенно добровольно соглашаются это пить, никто их не заставляет. Немыслимо.

— Ладно, раз так, вот вам подарок на новоселье, — объявляет Тереза. И достает из кармана пакетик с кефиром.

«Ничего, не жалко, тут совсем немного, граммов пятьдесят, пустяки, не разорюсь, — думает она. — И не зря, выходит, попросила смолоть, у этих красавцев, сразу видно, никакой кофемолки даже дома нет, вообще вряд ли в руках ее хоть когда-нибудь держали».

— Только смотрите, чтобы не закипел! — Тереза обводит притихших мужичков суровым взглядом. — Как только пенка появится...

— Сразу снимать! — хором подхватывают сидящие на табуретах, а третий веско добавляет: — А как же иначе?

— Ну и хорошо, — вздыхает Тереза. — Пейте на здоровье. А мне работать надо, извините, что не составлю компанию.

— Спасибо, соседка, вы же тут живете, а где ваше окно, спасибо, приходите, когда будет время, кофе попить, а если замуж надумаете, сразу скажите, мы вам за полцены... — хором галдят они, пока Тереза идет к дому, толкает скрипучую калитку, взбирается по лестнице на второй этаж.

Первым делом она открывает окно, потом включает плитку, достает из кармана пакет, пересыпает кофейные зерна в мельничку, ставит джезvu на условный электрический «огонь». Тереза мелет кофе и смотрит в окно, туда, где только что пировали ее новые знакомые. Но тропинка между сараями и огородами пуста, там нет ни табуретов, ни походной газовой горелки, ни самих мужичков. «Интересные дела, — думает Тереза, — куда они подевались? Не могли же вот так сразу, залпом заглотить кофе и убежать, пока я с ключами возилась... Или могли?»

В небе появляется стая голубей. Тереза не успела заметить, когда и откуда они взлетели. Большая, пестрая стая. «Что-то с ними не так, — думает Тереза. — Но что именно?»

Что-что. Цвет, конечно же. «Пестрая стая» — это еще слабо сказано. Черные и красные, желтые и синие голуби, яркие, как детские игрушки, кружат над двухэтажными бараками, огородами и сараями в бледном, вылинявшем от солнца июльском небе, выполняют какие-то сложные пируэты, то и дело перестраиваются, как цветные стекляшки в калейдоскопе, образуя бесконечное множество неповторимых узоров.

«Еще одно хорошее лето, — думает Тереза, пока черные и красные, желтые и синие голуби кувыркаются в звенящем от зноя воздухе. — Очень хорошее лето».



## Улица Диджон

Didžioji g.

### Испорченный телефон

— В Рейкьявике есть железнодорожный вокзал. Точный адрес неизвестен, однако все сходятся на том, что он расположен где-то в районе старой гавани. Каждый день сотни горожан и туристов проходят мимо вокзала, но не замечают его. Однако примерно раз в месяц, обычно в последний день луны, или в самом начале первого, увидеть вокзал становится проще простого. Оказавшись рядом, трудно бывает удержаться, не войти в здание и не купить билет на скорый поезд, который, в каком бы часу вы ни появились на вокзале, непременно будет стоять у перрона, готовый к отправлению. Некоторые жители Рейкьявика уверены, что пассажиры этого поезда быстро и дешево доберутся до материка; зачастую прежде, чем купить билет на самолет, они подолгу бродят с чемоданами по окрестностям старой гавани в надежде, что им посчастливится. Другие утверждают, что севший в поезд попадет неведомо куда, и еще неизвестно, вернется ли. Но все сходятся



*в том, что уехать на этом поезде — большая удача, упустить которую не следует.*

Он совершенно не был похож на сумасшедшего.

Крупный красивый старик с аккуратным седым ежиком и тщательно подстриженной рыжеватой бородой. В очень хорошем сером пальто, поношенном ровно настолько, чтобы выглядеть по-настоящему элегантно. Говорил спокойно, негромко, без излишней жестикующести, как будто рассказывал сказку тихому, понятливому ребенку, просто невидимому. Да и сидел он не на дереве, не на тротуаре даже, а на стуле, выставленном за порог кафе. Анна и сама сидела на таком же. К середине октября владельцы всех кафе и ресторанов успели убрать уличные столики, только «Кофе-ины» — здесь, в самом конце улицы Диджои, и еще один, на Вильняус — оставались по-прежнему милосердны к любителям свежего ветра и табака.

Старик, скорее всего, относился к первым, по крайней мере сигареты у него в руках не было. Перед ним на колченогом столе, щедро усыпанном последними медяками древесной листвы, стоял белый картонный стакан с крышечкой, самая большая доза горячей кофейно-молочной бурды, капучино или лате, кто его разберет. У Анны был такой же, но поменьше, medium, средняя порция карамельного кофе, приторный вкус которого бесил ее летом, но теперь как нельзя лучше сочетался

с вкрадчивым ароматом дыма, наползавшего на город не то из каминных труб, не то из недалекого уже студенческого будущего.

Закончив один рассказ, старик делал паузу, чтобы отхлебнуть кофе, и приступал к новому.

*— В Калькутте живет щенок с черным ухом. Он всегда спит, укладываясь головой в ту сторону, куда следует отправиться хозяину, чтобы найти свою удачу. Неизвестно, что ждет его там — горшок с золотом, выигрышный лотерейный билет, объявление о найме на хорошую работу, кувшин с выводком добродушных джиннов или встреча с любовью всей жизни. Возможно даже, все сразу. Однако хозяева щенка не знают об этом его удивительном свойстве, поэтому до сих пор не воспользовались невиданной возможностью поправить свои дела.*

«Надо, пожалуй, делать отсюда ноги, — думала Анна. — Тихий-то он тихий — пока. Неизвестно, что может выкинуть в следующую секунду. Вот ка-а-ак вскочит и ка-а-ак набросится! Или еще что-нибудь похуже. С психами всегда так».

«Надо срочно делать отсюда ноги», — настойчиво говорила себе Анна, но вопреки этому здравому совету полезла в карман пальто за следующей сигаретой. Может, еще что-нибудь расскажет? Интересно же.

— На окраине Хьяласти есть маленькая безымянная улица, отличить ее от прочих почти невозможно. Улица заканчивается тупиком, в тупике стоит трехэтажный дом; когда-то его стены были белыми, а нынче приобрели тот невнятный оттенок, который знающие люди называют цветом времени. На балконе под самой крышей сидит женщина в широкополой шляпе. Некоторым она может показаться старухой, некоторым — девушкой или даже девочкой-подростком. Она может быть одета в лохмотья или, напротив, вырядиться по последней моде, неизменной деталью остается лишь шляпа. Если, вежливо поздоровавшись, высказать женщине свое самое заветное желание, она засмеет вас, возможно даже обругает или швырнет вам в голову яблочный огрызок. Но, вернувшись домой, вы обнаружите, что желание ваше сбылось или, по крайней мере, начались какие-то события, ведущие к его исполнению. Если же вы опять придете к этому дому с новой просьбой, обнаружите, что балкон пуст, дверь заколочена, а в небе летают мертвые птицы.

Старик замолчал, допил кофе, поднялся, улыбаясь каким-то своим мыслям, выбросил пустой картонный стакан в урну и неторопливо пошел в сторону Ратушной площади. Анна озадаченно смотрела ему вслед. «Хьяласти, — думала она, — надо же, никогда не слышала о таком городе. Интересно, в какой он стране?»

Дома Анна не поленилась, полезла в Интернет, ввела в поисковую строку название загадочного города. «Не найдено ни одного документа, соответствующего запросу Хьяласти», — отвечал Google. «Искомая комбинация слов нигде не встречается», — вторил ему Яндекс.

«Ну надо же, — подумала она. — Но Рейкьявик-то на самом деле есть! И Калькутта. Наверное».

На всякий случай проверила. Убедившись, что Рейкьявик и Калькутта существуют, немного подумала и ввела следующий запрос: «Исландия железная дорога». «Исландия в настоящее время не располагает железнодорожным транспортом», — ответил всезнающий Интернет.

— Ага, — вслух сказала Анна. И с удовольствием повторила: — А-га!

Остаток вечера она чувствовала себя счастливой, ходила по дому вприпрыжку и часто невпопад смеялась, отвечая на телефонные звонки, а принимая перед сном душ, вдруг запела, чего, от природы обделенная музыкальным слухом, никогда себе не позволяла.

«Ты чего, мать? — строго спросила себя Анна, укладываясь в постель. — Откуда столько счастья в отдельно взятом организме? На горизонте ни единого путного ухажера, деньги почти закончились, у пальто подол истрепался, а нового пока не предвидится, да еще и корова

недоена, в смысле в переводе твоём конь не валялся. Не вижу никаких поводов для радости.

А это я тренируюсь, — поразмыслив, решила она. — Чтобы полезный навык не потерять».

И, полностью удовлетворенная столь разумным ответом, сладко заснула, так нежно обнимая подушку, словно под головой у нее лежал весь мир, наполненный удивительными поездами, волшебными щенками, разноцветными леденцами и, конечно, незаконченными переводами, куда от них денешься.

На следующий день у Анны не было никаких дел в Старом городе, а работы, напротив, вагон и маленькая тележка. Однако погода стояла прекрасная, очень теплая для октября, пасмурная, но сухая, и Анна сказала себе, что надо не упустить момент, погулять как следует, потому что скоро зарядят злые ноябрьские дожди, а потом ударит мороз, и о неспешных прогулках для удовольствия можно забыть до весны.

А оказавшись на улице Диджои, она, конечно, подумала, что карамельный медиум на шатком стуле возле «Кофе-ина» как нельзя лучше украсит ее сегодняшнюю вылазку в город, и без того чрезвычайно приятную.

За одним столиком сидела компания студенток, ослепительно тонких, с громкими, яркими, в тон крашеным волосам голосами. А за другим — давешний старик,

и Анна так обрадовалась, застав его тут, что метнулась за кофе, не подумав, что ей-то, получается, некуда сесть, столов тут всего два, что хочешь, то и делай. Но когда она вернулась на улицу, студентки как раз вставали, собравшись уходить, так что вопрос с местом уладился наилучшим образом, толком не успев сформулироваться.

Старик, похоже, только ее и ждал.

*— В Туамасине есть рынок, где сидит торговец облаками. Дождавшись, когда на небе появится очередное облако, он объявляет аукцион; желающих купить облако обычно оказывается много, но цены держатся невысокие, потому что люди в тех краях бедны, а охочие до сувениров туристы не видят смысла в такой покупке, поскольку облако нельзя упаковать и увезти домой.*

«Ну надо же, — подумала Анна, — теперь, значит, Туамасина. Или Туамасин. Наверняка где-то по соседству с Хьяласти», — язвительно добавила она. Достала из сумки блокнот и записала: «Туамасина, не забыть проверить».

*— В самом центре Гранады есть кафе. Найти его легко, оно так и называется — «Кафе Централь». Напитки и еда там самые обычные, но если кому-то взбредет в голову нарисовать что-нибудь на салфетке в ожидании*

*заказа, рисунок его будет отменно хорош и точен, вне зависимости от того, умеет ли этот человек рисовать. К сожалению, художники об этом не знают и в «Кафе Централь» не собираются, так что предназначенное им вдохновение достается туристам и водителям такси.*

«А вот это можно будет проверить лично, — подумала Анна. — Ну, теоретически, можно. Когда-нибудь. Когда мне заплатят за все переводы сразу и я, рассчитавшись со всеми долгами за квартиру, воду и свет, обнаружу, что в кошельке еще что-то осталось. И вот тогда... Кстати, это действительно мысль. В Гранаде небось и зимой неплохо. А уж весной-то, весной...»

— *В Кракове на улице Щепаньской есть старый дом, там всегда открыто одно окно. На подоконнике стоит клетка с большим попугаем синего цвета. Если дать попугаю семечек или орехов, он, поклевав, расскажет вам чей-нибудь важный секрет.*

«Ух ты, — обрадовалась Анна. — Вот это можно проверить хоть сегодня. В Кракове же сейчас Мишка живет. Младшего брата по своим делам гонять сам бог велел, они для этого, можно сказать, специально созданы мудрой природой».

Старик меж тем поднялся, тщательно оправил пальто, а прежде, чем уйти, повернулся к Анне и дружески ей

подмигнул. Она не успела ни улыбнуться в ответ, ни «спасибо» сказать за сказки, ни, напротив, демонстративно отвернуться — еще толком не поняла, что случилось и как на это следует реагировать, а старик уже дорогу перейти успел, не гнаться же за ним теперь.

«Это, наверное, такая игра, — подумала Анна, глядя ему вслед. — В „испорченный телефон“ с Небесной Канцелярией. Они ему священную истину какую-нибудь сообщают для спасения человечества, а он, недослышав, выдает дурацкие байки. И все пророки, наверное, так. То-то мы тут и ходим такие... неспасенные».

«А почему, собственно, „дурацкие“? — сердито спросила она себя, допив остывший карамельный кофе. — Очень даже прекрасные байки. А может, и не байки. Сейчас проверим, что там с краковским попугаем».

Услышав голос брата, Анна неожиданно для себя так обрадовалась, что даже тучи над улицей Диджой внезапно расступились и из-за них вынырнуло солнце, ошарашенное и смущенное, как человек, внезапно застигнутый гостями на диване в банном халате с дешевым детективом в мягкой обложке и стопкой бутербродов в изголовье.

— У меня самая дурацкая просьба в мире, — честно сказала Анна. — Глупее не придумаешь. Поэтому, если не хочешь морочиться, так и скажи.

— Рассказывай, — потребовал Мишка.

— Ты знаешь, где улица Щепанська? Или что-то в таком роде.

— Очень хорошо знаю. Это всего в трех кварталах от меня.

— Уффф! — выдохнула Анна. — Тогда тебе будет не очень трудно сходить туда и посмотреть, стоит ли на каком-нибудь окне клетка с попугаем.

— Попугай какой? Большой, синий?

— Ага.

— Мы с этим попугаем старые приятели, чуть ли не каждый день мимо него хожу. А ты откуда о нем знаешь?

— Рассказали, — лаконично объяснила Анна. — Слушай, а ты его случайно не кормил?

— Хотел, но не решился. Все-таки чужая птица. Откуда я знаю, что ему полезно, а что вредно?

— Семечки и орехи, — сказала Анна. — Это точно полезно. Мне говорили, он за угощение рассказывает разные интересные вещи. Ужасно любопытно, что ты услышишь.

— А ты сама приезжай, — предложил Мишка. — Я вас познакомлю, и корми его сколько влезет. С тебя семечки, с меня крыша над головой, кофе в постель и культурная программа.

— Я подумаю, — растерянно ответила Анна, с удивлением осознав, что расценивает его предложение как чертовски заманчивое. И даже более-менее осуществ-



вимое — при условии, что билеты на автобус до Варшавы стоят не дороже, чем в прошлом году.

«Все-таки есть попугай», — думала она, вбивая в строку поиска чудное название «Туамасина».

— И Туамасина тоже есть! — вслух воскликнула Анна, обнаружив, что этот город находится на острове Мадагаскар. Порт и центр региона Анциранана. Ну надо же.

«Получается, вообще все правда, — восхищенно заключила она. — И кафе в Гранаде, и невидимый вокзал в Рейкьявике. И даже женщина в шляпе из Хьяласти, мало ли что Интернет про такой город не знает. Подумаешь, великое дело — Интернет».

В таком вдохновенном настроении Анне не только все моря в мире были по колено, ей даже перевод оказался не страшен. Подумаешь — перевод. К четырем утра она его закончила и уснула блаженным сном младенца, бежавшего из рабства. Но в десять уже была на ногах. Мысль о том, что никто не помешает ей и сегодня отправиться в кафе на улице Диджои, бодрила лучше всякого кофе.

Эсэмэска от Мишки застигла ее в пути. «Попугай сказал: „Анна уже играет“. Семечки жрет, как не в себя. Приезжай, сама увидишь». И полдюжины смайликов, видимо в качестве приманки.

— Анна уже играет, — сказала она вслух, пробуя слова на вкус. Ей так понравилось, что пришлось повторить: — Анна уже играет. — И еще раз: — Анна уже играет! — громко, вслух.

К счастью, на улице в этот момент было пусто.

Старик сидел на обычном месте. За соседним столиком рассаживалась большая компания немецких туристов, школьницы, шустрые и звонкие, как тропические птички, облепили подоконники.

Анна сперва подумала: «Пока мне будут делать кофе, кто-нибудь да уйдет, здесь подолгу не засиживаются». Но когда она вышла на улицу с теплым картонным стаканчиком в руке, ситуация не изменилась, и Анна растерянно застыла на пороге — куда теперь себя деть?

Старик кивнул ей приветливо, как старой подружке, похлопал по соседнему стулу — дескать, присаживайся.

— Я вам точно не помешаю? — спросила Анна. — А если закурю?

Он молча помотал головой, и Анна села рядом, хотя обычно терпеть не могла сидеть за одним столом с незнакомцами. Лучше уж вовсе уйти. Старик улыбнулся и заговорил. На этот раз он обращался не к какому-нибудь невидимому собеседнику, а к Анне.

*— В самом центре Вильнюса есть маленькое кафе, примечательное тем, что столы и стулья стоят перед ним на улице поздней осенью и даже зимой. Один стул*

*поставлен таким образом, что, если сесть на него лицом к юго-западу, левым ухом можно услышать истории, которые рассказывает ветер.*

— Ветер? — переспросила Анна. — Эти истории рассказывает ветер? Ну надо же! Точно, игра в «испорченный телефон». Получается, я еще вчера угадала!

— Почти угадала, — улыбнулся старик. — Только почему «испорченный»? Вполне исправный телефон. Сейчас сама убедишься. Чур тебе водить!

Он встал и подал ей руку, помог подняться и пересесть на освободившееся место. Дружески похлопал по плечу, отвесил неглубокий поклон, скорее насмешливый, чем галантный, и стремительно пошел в сторону Святых Ворот; полы его серого пальто, расстегнутого по случаю хорошей погоды, развевались, как приспущенные паруса летучего корабля.

— В Лейне... — прошептала Анна, мучительно краснея от необходимости говорить вслух.

Порылась в карманах, разыскивая сигареты, но так и не нашла. Сделала глоток приторно-сладкого карамельного кофе, внезапно опьянела от него, как от доброй порции рома, и, расхрабрившись, начала снова, негромко, но твердо и очень внятно:

— *На северной окраине Лейна, куда не забредают ни любопытные туристы, ни вездесущие продавцы сладо-*

*стей, живет заклинатель книг. Люди приносят к нему книги, которые показались им бессмысленными, непонятными или просто слишком печальными. Одним книгам заклинатель играет на флейте, с другими о чем-то шепчется, запершись в кабинете, а иногда просто кладет закладку — птичье перо, обрывок записки, засушенный цветок. После этого история, записанная в книге, о чем бы она ни повествовала прежде, становится историей о великолепии и чудесах мира, хотя, как рассказывают те, кто не поленился проверить, все слова остаются прежними и даже не меняются местами.*

# Улица Жемайтийос

Žemaitijos g.



## Начальный уровень

Вышел из дома привычно хмурый, заранее усталый, как это обычно бывает с «совами», вынужденными слишком рано начинать рабочий день.

За ночь на стене соседского гаража появилась смешная картинка: лысый толстомордый мужик с огромными вислыми усами, больше похожими на приклеенные под носом лисьи хвосты. Рядом — надпись яркими красными буквами: «Ус». И указательная стрелка направлена на соответствующий объект. Чтобы, значит, не перепутать.

Невольно улыбнулся. А утренняя улыбка, как известно, приравнивается к дополнительной порции эспрессо. Или ристретто, в зависимости от ширины и искренности. Поэтому дальше зашагал бодро, даже сутулиться перестал, а ведь обычно осанка выправляется не раньше шести вечера, хоть портновский метр глотай за завтраком.

Пошел по традиции не кратчайшим, но любимым маршрутом, по Жемайтийской улице, где на одной из стен красуется надпись: «Your life will be happy and



peaceful»\*. Бледная, полустертая, почти незаметная на фоне пятен и трещин, она уже лет семь великодушно обещала счастье и покой прохожим, освоившим начальный уровень английского. То есть практически всем без разбору. И неизменно поднимала настроение.

Иных граффити на этой улице не было — до сегодняшнего дня.

Нынче же стены на Жемайтийской вдруг покрылись неумелыми рисунками и аккуратными четкими подписями, как будто рисовал ребенок, а писал взрослый человек. Жалобная тощая разноцветная курица и надпись: «Фазан». Ручки-ножки-огуречик с условной рогаткой и в еще более условных коротких штанишках — «Шалун». Толстый гибрид автомобиля и автобуса с букетом выхлопных газов в положенном месте, но рядом с ним не существительное «Машина», а глагол «Поедем» и несколько вопросительных и восклицательных знаков, вперемешку. Приятное разнообразие. Дальше снова сплошь существительные и соответствующие картинки: «Самолет», «Телефон», «Облака», «Замок»; масштабный шедевр детсадовской маринистики с подписью не «Море», как следовало бы ожидать, а «Волны». И уже на самом углу — гора ярко-желтых точек, больше всего похожая на популярный тридцать лет назад салат «мимоза». Однако, если верить подписи, никакой это не салат, а «Золото». Знай наших.

---

\* «Ваша жизнь будет счастливой и спокойной» (англ.).

Вышел наконец на Пилимо, к троллейбусам. Улыбался все шире. Думал — смешная затея. Дурацкая, но очень смешная. Сделали мне утро, такие молодцы. И еще целой куче заспанного народа наверняка.

Когда увидел на остановке здоровенного мужика с роскошным светло-русым хайром до плеч и соответствующей бородищей, в черной футболке с надписью «Косматый», одобрительно хмыкнул. Самоирония — великая вещь, и самому смешно, и прохожим радость.

Углядев на чужой сумке с принтами повторяющуюся надпись «Амбидекстр», рассеянно задумался, действительно ли ее хозяйка одинаково хорошо владеет обеими руками? Или просто ходит с модной сумкой, не особо вникая в содержание?

И только когда у ближайшего светофора притормозил великолепный чоппер, на руле которого вызывающе болталась мятая картонка с обезоруживающей надписью «Мотоцикл», удивился, да так, что пробормотал вслух: «Нет, ну это уже слишком». Отвернулся и уткнулся взглядом в окно нежилого дома, на запыленном стекле которого кто-то аккуратно вывел пальцем прилагательное «Мутный».

Вот черт.

На работе, впрочем, ничего такого не наблюдалось. Правда, приходилось постоянно напоминать себе, что изображающая весенние лужи картинка под названием «Капель» висела в коридоре всегда. И условно смешную

табличку «Бессознательное» на дверь штатного психолога приделали еще неделю назад, в честь дня ее рождения, да так и забыли снять. Нет здесь никакого подвоха. Нет, нет, нет.

В сумерках вышел на улицу и едва устоял на ногах, потому что на тротуаре атели крупные ровные буквы: «С У М Е Р К И». Хотел было снова, как утром, сказать: «Это уже слишком», но решил не повторяться.

Подумал: интересно, что будет, когда совсем стемнеет? Кто-нибудь придет, чтобы стереть эти буквы и написать новые: «Н О Ч Ь»? Но не стал ждать. Напротив, прибавил шаг.

По дороге зашел к сестре, которая купила новый компьютер и теперь взывала о помощи.

Лина давно собиралась учить немецкий и вот наконец начала. Поэтому все в ее доме теперь было облеплено наклейками со словами: «der Tisch», «der Stuhl», «der Kühlschrank», «die Tür», «der Fußboden», «die Decke»\*. И так далее.

Прихлебывая чай с лимоном из чашки с надписью «die Tasse»\*\*, сказал — сам не заметил, что вслух:

— Так вот на что это похоже.

— Что на что похоже? — переспросила сестра.

Пришлось объяснять.

— Все эти картинки и надписи в городе. Выглядит, как будто кто-то учит язык.

---

\* «Стол», «Стул», «Холодильник», «Дверь», «Пол», «Потолок».

\*\* «Чашка».



— Какие картинки?

Вкратце пересказал все, увиденное за день.

— «Мотоцикл» — это особенно круто, — отозвалась Лина. — Ничего себе — картонка на руле! Совершенно необъяснимо. Остальное... Ну, даже не знаю. Все может быть. Если предположить, что простые слова — «дом», «дерево», «тротуар» и так далее — он уже выучил... Или она? А кто, собственно?

Пожал плечами.

— Понятия не имею.

— Мироздание, — усмехнулась Лина. — Верховное божество современных агностиков. Не знаем, кто у нас тут начальство, но смутно подозреваем, что оно все-таки есть. Потому что, если нет, тогда совсем уж как-то бессмысленно.

Подхватил:

— Ну да. Именно. И вечно пристаем к неведомому начальству с просьбами: сделай то, прекрати делать это. Одна моя подружка вообще регулярно письма ему пишет — в своем дневнике. Так и обращается: «Дорогое Мироздание!» — прикинь. Как бы в шутку. Но при этом всякий раз очень рассчитывает на ответ.

— Вот прямо берет и пишет? — восхитилась Лина. — Ну надо же. А я-то, дура, просто вслух говорю. Иногда... Слушай, это сколько же нас, таких неугомонных просителеев, бродит сейчас по свету? Неудивительно, что Мироздание решило наконец выучить человеческий язык. Хотя бы из любопытства. А то как-то глупо получается: все от тебя чего-то хотят, а ты понять не можешь. И тем

более внятно ответить. А нам же, бедным зайцам, так надо! Я бы на месте Мироздания тоже села зубрить. То-то мы все попляшем, когда оно освоит хотя бы начальный уровень и вступит в диалог! Уже жду не дождусь.

Сказал снисходительно:

— По-моему, ты перезанималась.

— Есть такое дело, — миролюбиво согласилась Лина. — И ты, кстати, тоже; не знаю, правда, чем именно. А уж как Мироздание перезанималось — подумать страшно. Вот и чудит. Раньше-то мы его шпаргалок вроде не видели. А нынче валяются где попало, тревожат моего бедного впечатлительного братика. Безобразие, да?

Не стал отвечать. Только головой покачал.

Укоризненно.

Выйдя от сестры, какое-то время раздумывал. Наконец тяжело вздохнул, вспомнив бабкину присказку: «От дурной головы ногам шкода», и пошел обратно, в сторону офиса. Туда, где на тротуаре три часа назад красовалась надпись «Сумерки». Поглядеть, что там с ней.

Надпись и правда сменилась. Угадал, ну надо же. Только вместо предполагаемого «Ночь» там появилось слово «Темнота». И еще слово «Фонарь», но не на тротуаре, а прямо на фонарном столбе. Что, в общем, логично.

Повторил вслух:

— Логично.

И отправился на троллейбус. Хватит на сегодня прогулок. Набегался.

Однако по привычке вышел на остановку раньше, свернул с Пилимо на Жемайтийскую улицу. Пока переходил дорогу, изумлялся грохоту собственного сердца. С каких это пор картинки и слова стали серьезным поводом для волнения? Даже если они сменяются по нескольку раз на дню, это говорит только о том, что кому-то нечего де...

...лать. Ага. Так и знал. Утренние надписи исчезли. Зато появились новые. Разглядеть в темноте рисунки было совершенно невозможно, но яркие красные буквы бросались в глаза: «Полярник», «Угрожать», «Чревовещатель», «Пристально», «Пузыри», «Карта», «Карусель». Абсурдный набор.

Шел по Жемайтийской улице, стараясь не смотреть на стены. На сегодня достаточно. Но ярко-красные буквы все равно бросались в глаза, только что за рукав не дергали. «Тайник», «Практика», «Вампир», «Барбарис», «Серебристый», «Астролябия». Астролябия! Господи, твоя воля.

Уже сворачивал во двор, когда высокий, по-юношески ломкий голос громко сказал откуда-то сверху, по ощущениям с девятого примерно этажа:

— Сиам, — и тут же повторил четко, по слогам: — Си-ам.

Чтобы уж никаких сомнений.

Вздрогнул, чуть было не переспросил: «Чего-о-о-о?» — но все-таки сдержался, промолчал. Обернулся. Улица, похоже, совершенно пуста. И окна соседних двухэтажных домов вроде бы закрыты. Впрочем, невидимый говорун вполне может сидеть на крыше. Или на дереве. Да где угодно может он сидеть. Например, у меня в голове.

Наиболее вероятный вариант. Хотя, конечно, наименее предпочтительный.

Стоял, прислонившись затылком к холодному металлу ограды. Слушал, как где-то наверху, но не слишком высоко кто-то откашливается. И, неуверенно растягивая гласные, произносит новое слово:

— О-о-о-ке-е-е-а-а-а-ан. — И еще раз: — Океан.

Не выдержал. Рванул в дом, захлопнул за собой дверь подъезда, а потом и квартиры. Повернул ключ, зачем-то закрылся на цепочку, которой сроду не пользовался.

Подумал: хорошо, что Янка сегодня придет поздно. Таким она меня еще не видела.

Вот и не надо.

Несколько минут сидел на кухне, положив руки на стол, а голову на руки. Вдруг понял, что так не пойдет. Встал и распахнул окно.

Там, в пахучей влажной темноте пасмурной сентябрьской ночи, непривычно высокий голос нараспев выговаривал все новые слова.

— Гуд-ки. Тума-а-ан. Вре-е-е-мя. Время.

Ну надо же. Правда, учится. Учится говорить. Интересно, хоть кто-нибудь кроме меня слышит?

Ай, ладно, какая теперь разница.

Взял Янкину губную помаду, встал перед зеркалом. Старательно написал у себя на лбу красные буквы: «Благодарный». Некоторое время испытующе смотрел в ошалевшие глаза своего отражения. Не выдержал, рассмеялся первым. И пошел умываться.

# Улица Калинауско

К. Kalinausko g.



## Ну, например

«С виду совсем дряхлая развалина», — думаю я, разглядывая сидящего напротив тощего сутулого старика.

На самом деле ему, скорее всего, едва за шестьдесят, это поколение поголовно выглядит много хуже, чем смели надеяться ответственные за их обработку скульпторы из мастерской Кроноса. Не живые, а *дожившие до пенсии*. Впрочем, дед, разминающий сейчас сигарету кривыми ревматическими пальцами, похоже, все еще работает — то и дело поглядывает на часы и в целом вид имеет вздрюченный, как человек, опасющийся опоздать на службу. Особого рода напряжение чела в сочетании с тусклым, но цепким взглядом свидетельствует о привычке к систематическому умственному труду. Скорее всего, препод из технического колледжа, осеняет меня, это же здесь совсем рядом, на Басанавичяус, дорогу два раза перейти. Карьеру, понятно, не сделал, студентов сдержанно недолюбливает, как и все остальное человечество, без разбора. Они отвечают ему столь же сдержанной взаимностью, даже прозвища небось никакого

не прилепили за все эти годы, ни смешного, ни обидного, просто никто никогда не судачит о бедняге за глаза, настолько он неинтересен. Не злой, на экзаменах не валит, зачеты ставит автоматом, вот и ладно, но благодарности его поведение не вызывает, люди всегда инстинктивно распознают равнодушные и не прощают, даже когда оно им на пользу.

Сюда, в парк, дед, конечно, приходит покурить в перерывах между лекциями. Теоретически, он мог бы курить во дворе колледжа, но коллеги-преподаватели, те, что помоложе, неодобрительно косятся, и хотя вслух ничего не говорят, дед и сам понимает — как-то нехорошо при молодежи, даже если молодежь сама вовсю дымит в уборной на первом этаже, презрев административные запреты.

Я исподтишка разглядываю старика — сигареты обычно хватает на семь-восемь минут, а с развлечениями в парке, прямо скажем, не очень, и лишь наличие двуногих бескрылых ребусов помогает скоротать время.

Я, понятно, далеко не Шерлок Холмс, ну так и мир вокруг гораздо проще и скучнее, чем художественная литература, люди тут самые обычные, не литературные персонажи. Ни маркеров, ни конюхов, ни даже отставных флотских сержантов среди виленских прохожих в помине нет, только клерки обоего пола, пролетарии всех стран, школьники, студенты, пенсионеры, неистребимые тетки с кошелками, изредка иностранцы и богачи — люди особой породы, этих разгадывать интересней, но,

честно говоря, ненамного. А еще порой на глаза попадается потрепанная интеллигенция старого советского образца, вроде этого деда. Чрезвычайно, замечу, потрепанная. Ветхая одежда со следами былой солидности — пальто ему, похоже, справили еще при советской власти, не просто купили, а именно *справили*, долго копили, потом ходили всем семейством за реку, в центральный универмаг, приценивались, выбирали; брюки поновее, но покойного президента Бразаускаса\*, несомненно, еще застали на посту. А вот портфель совсем древний, впору принести его в дар историкам-краеведам, старьевщики на такое добро все равно не позарятся, а науке польза. Ботинки... Кстати, на удивление приличные ботинки. Не новые, слегка поношенные — до того самого состояния, которое делает дорогую обувь по-настоящему элегантной. Ботинки, внезапно решаю я, подарок сына. Купил себе, оказались тесноваты, разносить не удалось, в магазине обменять отказались, подумал, вздохнул и отдал отцу. Я уже почти вижу этого сына — большой, грузный мужчина за тридцать, звезд с неба не хватает, но на ногах стоит крепко, хозяйственный, обеспеченный, прижимистый и властный, весь в мать. Жена у деда, спорю на что угодно, толстая, шумная, басовитая старуха, готовит отлично, а продукты покупает только самые дешевые, умеет, как говорится, *сделать из говна конфетку*. И конечно,

---

\* Альгирдас Бразаускас (Algirdas Mykolas Brazauskas) — первый президент независимой Литвы, т. е. брюки датируются 1993–1998 годами.

держит беднягу в черном теле, уж ему-то не понаслышке известно слово «заначка», которое окончательно уйдет из активной лексики вместе с этим поколением, стало быть совсем скоро.

«А в портфеле у него бутылка самого дешевого бренди», — думаю я. Сейчас еще одну пару в колледже отчитает, а потом отправится в гости к старому приятелю. Счастливчик овдовел пару лет назад, поэтому теперь у него можно сидеть, сколько душа пожелает, вернее, пока не закончится выпивка, а что будет вечером дома, об этом лучше вовсе не думать. Впрочем, ничего такого, к чему дед не успел привыкнуть за эти годы, до сих пор не убившие беднягу, но и сильнее не сделавшие, вопреки безответственным обещаниям прочитанных в юности книг.

Мне уже тошно от собственной прозорливости; куда лучше было бы не вычислять, опираясь на факты и житейский опыт, а выдумывать, но выдумывать я не умею, поэтому просто отворачиваюсь от деда с потаенной бутылкой в ветхом портфеле и принимаюсь разглядывать тех, кто сидит на других лавках. В стороне, на безопасном расстоянии от курящих нас, устроились мамаша с коляской и старуха с внуком-дошкольником — пустой номер, нечего тут разгадывать, и без того обе как на ладони. А слева у нас кто? Женщина средних лет в красном пальто с укороченными по последней моде рукавами, в длинных, до локтя, трикотажных перчатках из недорогого молодежного магазина — я не то чтобы специально интере-

суюсь дамскими аксессуарами, но почти каждый день хожу мимо витрины, где они выставлены, невозможно не опознать. Готов спорить, обручального кольца под перчатками нет, и не было никогда, и теперь уж, пожалуй, не будет, с таким жалким, с детства напряженным выражением лица женихов особо не наловишь, сколь бы хороши ни были длинные ноги в плотных черных чулках. Я и сам поспешно отворачиваюсь и даже инстинктивно отодвигаюсь, хотя где я, а где дама в красном, между нашими скамейкам непреодолимая пропасть, шага четыре, не меньше.

И живет она до сих пор с родителями, мрачно думаю я, вернее, не с родителями, а с мамой. И не удивлюсь, если домой должна возвращаться к девяти, послабления возможны только в дни рождения подружек, да и то не факт. Какие уж тут женихи. Вот бедняга.

Отвернувшись от дамы в красном пальто, я увидел, что у меня появился сосед. В парке полно пустых скамеек, но тип в дурацкой шапке с помпоном почему-то выбрал мою, деликатно уселся на самом краю, достал из кармана диковинный портсигар, изукрашенный в стиле иллюстраций к арабским сказкам, и теперь судорожно обшаривает карманы в поисках зажигалки — похоже, безуспешно.

Не желая и дальше оставаться свидетелем его мук, я протянул бедняге спичечный коробок, который все это время машинально вертел в руках — оказывается.

И подумал, что судьба в кои-то веки подкинула мне интересную шараду. Хрен его знает, кто этот тип. Клерком он не может быть по определению, шапка дурацкая — еще ладно бы, но к шапке прилагается подбитый овчиной джинсовый полушубок и, самое главное, две разноцветные штанины, одна из шоколадно-коричневого вельвета, вторая, помоги мне, Матерь Божья, из красного. Такую красоту не каждый день увидишь. Для студента он недостаточно молод, для богача, даже очень эксцентричного, чересчур расслаблен, да и тряпки слишком дешевые. Иностранец? Похоже на то.

— Спасибо, — говорит моя интересная шарада, принимая спички.

Ну вот, теперь ясно, местный. Настолько местный, что по сравнению с ним я сам иностранец, хотя живу здесь уже четырнадцать лет. Тогда, внезапно осеняет меня, художник. И левая рука, гляди-ка, измазана белой краской. Элементарно, Ватсон!

— Почти угадали, Холмс, — неожиданно говорит незнакомец с помпоном. — Не художник, но архитектор. А краска — это потому что у меня здесь рядом объект. Полная перепланировка квартиры, ремонт и, конечно, дизайн интерьера.

Я умею скрывать удивление. По крайней мере, мне приятно думать, что умею. Поэтому я забрал протянутые мне спички и вполне хладнокровно откликнулся:

— Я действительно подумал, что вы художник. А почему вы сказали: «Холмс»?





— Потому что вы очень внимательно нас разглядывали — меня и всех остальных. И я подумал — ну, например, этот человек играет в Шерлока Холмса. Подмечает детали и делает выводы. Отличное развлечение, пока куришь в парке. И наверняка принял меня за художника — с учетом того, в каком виде я нынче выскочил из дома, это самое логичное заключение. Я сам так часто играю. То есть не совсем так. Логика — не самая сильная моя сторона. Да и с наблюдательностью не все благополучно. Поэтому я не ломаю голову над фактами, а придумываю всякую ерунду. Впрочем, нет, не «придумываю». Скажем так, я просто позволяю всякой ерунде появляться в моей голове. Понятия не имею, откуда она берется, но развлечение выходит отличное. Всякий раз какой-нибудь сюрприз.

— Хорошее дело, — согласился я. — Но у меня так, к сожалению, не получается. Не могу игнорировать факты. И не делать очевидные выводы тоже не умею. Рад бы, но не выходит.

— Просто вы еще никогда не старались как следует, — безмятежно улыбнулся он. — Ерунда — штука гордая, в чью попало голову добровольно не придет. Для нее сперва надо расчистить место, а потом отправить приглашение и терпеливо ждать. А пока у вас в голове нет никакой ерунды, могу, если хотите, поделиться своей.

Я кивнул — из вежливости. Старается человек, развлекает меня, честно отрабатывает позаимствованную

спичку. Это какой же надо быть сволочью, чтобы не поддержать беседу.

— Ну, например, у этого старика в портфеле спрятан дракон, — выпалил он.

Я даже опешил. Чего угодно ожидал, но дракон в портфеле — это и на неловкую шутку не тянет. Перебор. Абсурд. Да просто глупость.

— А женщина в красном пальто, — он на секунду замешкался и уверенно продолжил: — ну, например, балерина. Не прима, конечно, кордебалет, но все-таки. В пачке, на пуантах, блески в волосах, как в детстве мечтала. Но вот беда, недавно она заметила, что стремительно стареет, когда кружится в танце по часовой стрелке; ей сейчас всего двадцать семь, а кажется, что лет на десять больше, правда? И ведь ни с кем не обсудишь такую беду, никому не пожалуешься, тем более совета не спросишь. Толку все равно не будет, засмеют, начнут перешептываться за спиной, перестанут приглашать на вечеринки. Всякий человек отчаянно одинок, но большинство узнает об этом, только когда с ними начинает происходить *что-то не то*. Впрочем, наша балерина — молодец, сама нашла выход. Теперь она часто тайком остается в театре после закрытия, выходит на сцену и подолгу кружится — против часовой стрелки, конечно. Она вовсе не убеждена, что это поможет, то есть вообще не верит, только смутно надеется, но еще до Рождества наглядно убедится, что ее наивный метод работает. Это открытие навсегда изменит нашу даму в красном и весь мир... Ну, положим, не то

чтобы весь, а, скажем, в радиусе трех-четырех метров от ее танцующего тела. И это, поверьте, совсем немало.

Ему бы романы писать, а не квартиры ремонтировать, снисходительно думаю я. Изображать вежливую заинтересованность при этом не забываю. Мне нетрудно, а психу с помпоном приятно.

— А женщина с коляской?

Сам не знаю, зачем я спросил. Вполне можно было выбросить почти докуренную сигарету и распрощаться.

— Там, похоже, все очень интересно. Ну, например, ее младенец не родился, как это принято у добрых людей, а просто приснился своей матери... Ну как — просто. Он снился ей почти каждую ночь на протяжении нескольких лет, и женщина так привыкла к этому сну, что почти не удивилась, проснувшись однажды от громкого плача. В ее снах младенец был тих как ангел, наяву же ему требовалось срочно менять пеленки, а потом бежать в магазин за молочной смесью, но женщину это совершенно не смутило. Она давно мечтала о ребенке и была вполне готова к сопутствующим житейским трудностям. Вместо того, чтобы сводить себя с ума, размышляя о случившемся с ней невозможном событии, новоиспеченная мать лихорадочно гадала, как раздобыть свидетельство о рождении, которое, впрочем, внезапно обнаружилось в одном из ящичков бабкиного буфета, где прежде хранился ветеринарный паспорт сбежавшего еще прошлой весной кота. Она наспех сочинила для соседей и коллег по работе умершую родами незамуж-

нюю кузину и на этом предпочла остановиться, сказала себе, что все улажено, так что и думать больше не о чем. Правда, иногда беспокоится — будет ли ее младенец расти, как все нормальные дети, и как его следует воспитывать, чему учить, но всякий раз говорит себе: «Поживем — увидим», — и она совершенно права... А знаете, что забавно? Эта женщина сейчас запросто могла бы обсудить свои сомнения с соседкой по лавке. Очень интересная старушка. Ну, например, она живет на свете уже не первую тысячу лет и много чего повидала. Видите, рядом с ней сидит мальчик? Случайный наблюдатель, вроде нас с вами, глядя на них, подумает: любящая бабка выгуливает внука, обычное дело. Как же, держи карман шире! Старая ведьма взялась выращивать себе очередное новое тело, то-то малыш от нее ни на шаг не отходит. Вы когда-нибудь видели такого спокойного ребенка? То-то же.

— Но ребенок — мальчик. А она — женщина, — возразил я.

Как будто все остальное было логично, и только тут — небольшая нестыковка.

— Ну правильно, мальчик, — согласился архитектор. — В любом деле важно разнообразие. Женщиной она уже побывала не раз; мужчиной, впрочем, тоже. Чередование, надо думать, освежает ощущения.

— Слушайте, — решительно сказал я. — Так нельзя. Дед с драконом в портфеле, балерина, запутавшаяся во времени, мамаша со сновидением в коляске, ведьма,

вытащившая на прогулку свое будущее тело. Это получается, во всем парке ни одного нормального человека нет?

— Почему нет? Есть, — улыбнулся псих с помпозным. — Мы с вами. Впрочем, нет, только вы, потому что я... Ну, например, я сейчас не здесь, а еще на объекте. Только через четверть часа в парк покурить выйду.

Фильтр догоревшей сигареты обжег мне пальцы. Я вздрогнул, уронил окурок на землю, но, устыдившись, подобрал и щелчком отправил в урну. «Интересно, — подумал я, — с кем я все это время разговаривал? Хороший вопрос. Хороший, но в сложившейся ситуации совершенно бесполезный. Чем скорее я выброшу из головы всю эту чушь, тем...»

Старик в потрепанном пальто тем временем тоже докурил и принялся возиться с замком своего портфеля. Я как замороженный следил за борьбой негнущихся пальцев с холодным металлом, думал, что надо бы предложить помощь, но так ничего и не сказал. Наконец замок капитулировал, и на свет был извлечен ярко-красный плюшевый дракон в прозрачной целлофановой упаковке. Старик критически оглядел его со всех сторон, достал из внутреннего кармана открытку и принялся прикреплять ее к свертку.

«Это просто игрушка, — думал я, оглушенный грохотом собственного сердца. — Дешевая плюшевая игрушка из „Максимы“, подарок внуку или внучке, ну что ты, в самом деле, успокойся, пожалуйста, очень тебя прошу».

Старик спрятал дракона в портфель, снова повожился с замком, наконец встал и неторопливо пошел в сторону улицы Калинауско. Женщина в красном пальто тоже поднялась и стремительно понеслась в том же направлении, широко, по-балетному, расставляя носки пестрых резиновых сапожек. Я смотрел им вслед — а что мне еще оставалось.

«Через четверть часа, значит, выйдет, — вспомнил я. — Ладно». Достал из кармана еще одну сигарету, закурил и принялся ждать.



## Улица Кранто

Kranto g.

### Сделай сам

— Туфли для сна, — говорит человек с резко очерченными скулами и волосами цвета выгоревшей травы.

У него хищный профиль и недобрый прищур, но внезапно — обезоруживающая улыбка и трогательные ямочки на щеках.

— Что ты имеешь в виду? — спрашивает второй, большой, широкоплечий, коротко остриженный под машинку, в джинсовой куртке, выцветшей почти добела.

Этот кажется совершенно невозмутимым.

— Здешним жителям совершенно необходимы туфли для сна. Мягкие, войлочные или просто вязаные. С такими, знаешь, специальными хитрыми узорами на подошвах, чтобы сновидец всегда мог найти обратную дорогу и проснуться дома. Куда бы он перед этим ни заснул.

— Принято. Отличная идея. Простая, практичная и абсурдная. Все как я люблю. Но этого мало. Тут, сам

*видишь, надо почти все строить заново. Не с нуля, конечно. С нуля я бы и не взялся. Но работы непочатый край.*

У этого стриженного в куртке такие ярко-зеленые глаза, что мне даже отсюда видно. Хотя я сижу не то чтобы совсем рядом. Метрах в десяти, не меньше.

Интересно, думаю я, это линзы или настоящие? Да ну, разве такой цвет бывает... Хотя всё бывает, наверно.

Наверное, всё.

*— Эту речку зовут Вильняле, — говорит тем временем зеленоглазый.*

*— Хорошая, — одобрительно откликается его приятель. — Рыженькая такая.*

Вода в реке сегодня и правда переливается всеми оттенками янтаря. Но Вильняле не всегда такая рыжая. У нее каждый день что-нибудь новенькое. Поэтому я так часто хожу сюда рисовать. То есть я по многим причинам хожу, но в частности — поэтому.

Этюдник мой стоит в высокой густой траве. Я сижу рядом. Делаю вид, будто напряженно обдумываю работу, а на самом деле, конечно, просто подслушиваю двух говорливых незнакомцев. Над их головами вьются бабочки — белые, желтые, голубые, рядом деловито пасутся толстые утки.

При этом считается, что все мы находимся на одной из центральных городских улиц. До знаменитой Святой Анны отсюда минут пять ходу, до Кафедральной площади — еще столько же.

На всех картах это благословенное место фигурирует под названием «Кранто гатве». То есть Береговая улица. Тут нет ни жилых домов, ни фонарных столбов, ни даже какого-нибудь ветхого забора, на который можно было бы повесить табличку с названием. Зато много травы, цветов и деревьев. И густые заросли кустарника. И один из лучших видов на дома и сады Ужуписа — там, на другом берегу. Словом, мы сидим в очень хорошем месте.

Ну как — «мы сидим». Я с этюдником отдельно, а эти двое — отдельно, сами по себе. Пришли, уселись на траву всего в десятке метров от меня. Хотя берег совершенно безлюден, вполне могли бы отойти подальше. Мне же каждое их слово слышно. Но им, похоже, плевать. Или наоборот, нравится, что кто-то их слышит? Некоторые шутники любят вот так, на публике нести чепуху и исподтишка наблюдать за реакцией. А может, я теперь человек-невидимка? Поди разбери. Но я в любом случае только «за». Мне интересно. Так интересно, что краска на кистях уже засохла, то-то радости будет потом их отмывать.

*— Тут еще есть Нерис, — говорит зеленоглазый. — Большая, серьезная, солидная река, настоящая граница,*

делит город на две части — почти равные, но неравноценные. Лично я к Правому берегу равнодушен, слишком уж он реален и, как следствие, деловит. Мне там делать совершенно нечего, а вот на мосту постоять — отличное занятие. На любом, все хороши... Хочешь попробовать? Здесь совсем недалеко. Сперва по берегу до Святой Анны, потом пересечь Кафедральную площадь, и считай, дело в шляпе.

— Которой у нас, между прочим, нет.

— Зато мы у нее есть.

— Ну да. Целых два белых кролика, — смеется его друг. — Повезло этой шляпе, чего уж там.

А уж мне-то как повезло. Одно удовольствие их слушать.

— Не знаю пока, что там с Нерисом, — говорит скуластый. — А вот в Вильняле, несомненно, водятся русалки. Видимо-невидимо.

— Бывалые рыбаки ловят их на суши из японских забегаловок, — подхватывает зеленоглазый. — Местные русалки так любят суши, что даже удочка ни к чему. Достаточно показать, поманить, и она сама на берег полезет.

— Погоди. А зачем рыбакам ловить русалок? Их же не едят. А если едят, я так не играю.

— Вечно у тебя одна жратва на уме. Почему все, что поймал, обязательно надо сразу в рот тянуть? Может

быть, русалок просто для красоты в домах держат?.. Или нет, не так. Например, они поют. Сладчайшими, прельстительными голосами. Как старшие сестры их сирены. Но все же никто не цепенеет и волю не теряет. Просто слушают, распахнув рот, забыв обо всех делах и заботах. И все.

— Ладно. Значит, русалки у нас поют. А в перерывах лопают суши и сашими. Роллы тоже годятся. Главное, чтобы не с огурцом. Да будет так.

— Чем, интересно, тебе огурец не угодил?

— Понятия не имею. Просто у меня тяжелый характер. Мне совершенно необходимо всегда иметь в запасе образ врага. Огурец сойдет.

— Ладно, — кивает зеленоглазый. — Как скажешь.

Совсем психи, восхищенно думаю я. Такие прекрасные психи. И как же хорошо, что никому до сих пор не пришлось в голову их вылечить. Это была бы невосполнимая потеря.

— Еще туманы, — говорит скуластый. — По моему опыту, без туманов никак. Если у нас не будет туманов, можно сразу прикрывать лавочку.

— Как это — «не будет»? За кого ты меня принимаешь?! Тем более с туманами тут и без нас все в порядке. Величайшее виленское сокровище. Жемчужина княжских снов. И практически в полной сохранности. Время над ними не властно, равно как и людская суета.

— Отлично. Верю на слово. Но. Того, что есть, по умолчанию недостаточно. Было бы достаточно, нам с тобой и делать ничего не пришлось бы. Значит — что? Значит, надо распоясаться.

— Ты, похоже, уже вполне распоясался, — одобрительно говорит зеленоглазый.

— Распоясаться в данном случае следует не столько мне, сколько туманам. Пусть берут все в свои руки. Пусть покажут, кто в этом городе хозяин. Для начала пусть просто стирают все, на хрен, каждую ночь. А потом возвращают на место. Можно как было, можно с некоторыми небольшими изменениями. Второй вариант мне, сам понимаешь, нравится больше. Но я не настаиваю. Как пойдет. Пусть хозяйничают, к примеру, между тремя и четырьмя часами утра. Отличное время. Любители шляться по ночам будут в восторге, а я лоббирую их интересы. Сам такой — был, есть и буду.

— А кстати о гуляющих. Вот с этой, к примеру, горы, — зеленоглазый машет рукой в сторону холма, увенчанного тремя белыми крестами, — должен открываться вид на вчерашний день. То есть на тот город, который был вчера. Поначалу, конечно, никто ничего не поймет. Но со временем непременно найдется кто-нибудь достаточно внимательный, чтобы заметить, к примеру, как резко изменилась погода. Скажем, весь день моросил дождь, а стоило забраться на холм, и над

городом засияло солнце, в точности как вчера. Спустился — а там опять мокро, и небо тучами затянуто. Или увидит, что над городом парят воздушные шары, которых, пока он поднимался, не было. И быть не могло, погода-то нелетная. Зато как раз вчера эти шары все небо заполнили, и вот этот красный с надписью «Ergo» точно так же низко-низко летел, чуть ли не царапая дном корзины колокольню Святого Иоанна... Словом, непременно найдется кто-нибудь достаточно внимательный и любопытный, чтобы сперва задуматься, а потом проверить свои догадки. И проверять, и перепроверять — снова и снова. И друзей за собой таскать, чтобы были независимые свидетели. И глядеть сперва недоверчиво, а потом — едва унимая сердцебиение. И наполнять город слухами, как же без них. Слухи — это в нашем деле главное.

— Отлично, — кивает его друг. — Просто слов нет. Я бы, пожалуй, предпочел позавчерашний день, но это, возможно, перебор. Действительно, пусть будет вчерашний. Для полной ясности.

Я уже не просто не рисую. Я уже даже не делаю вид, будто собираюсь рисовать. И кисточки давно упали в траву. И лежат там, скрестившись, сложившись в большой деревянный икс. Которым в школьных учебниках математики любят обозначать все неизвестное.

— Твой ход, — говорит зеленоглазый.

— Башмаки на перилах мостов.

— Что-о?

— Пусть люди развешивают на мостах свои старые башмаки. То есть не от балды, кто попало и когда попало, а в особых случаях. К примеру, когда человек твердо сказал себе, что начинает новую жизнь. И, чтобы придать силу своему решению, снимает обувь, в которой ходил старыми путями, оставляет ее на мосту и отправляется дальше, вдохновенный и босой. Ну, или не босой, если запасную пару с собой прихватил. Почему нет.

— Народ у нас хозяйственный, а башмаки — вещь полезная, долго не провисят, — ухмыляется его друг.

— Смотря какие. К тому же далеко не каждый захочет вот так наугад на чужой путь становиться. С другой стороны, если все-таки будут растаскивать, оно даже и хорошо. Естественный круговорот башмаков и путей в природе, так и надо.

— Слушай, а ведь со временем некоторые горожане станут развешивать на мостах свои старые туфли для снов. В таком деле перемены даже желанней, чем наяву. А другие станут их таскать — просто из любопытства.

— Совершенно верно. Сам бы таскал. Мало ли чьи попадутся. Вдруг повезет.

— Ага. Отлично может получиться. Как же хорошо, что я тебя сюда заманил.

— Мне тоже нравится. Прекрасное развлечение выходит. И город замечательный — уже сейчас. А то ли еще будет.

— Единственное, что плохо, — моря здесь нет, — печально говорит зеленоглазый.

— Зато целых две реки. Мало тебе?

— Да хоть бы и три, все равно мало. Надо, чтобы море хотя бы мерецилось. Пусть будет его запах летними вечерами — для начала. И проходы к морю в глубине некоторых дворов. То есть тем, кто идет мимо, должно казаться, будто тут есть проход к морю и, если свернуть, непременно к нему выйдешь. Правда, сейчас совершенно нет времени, но в следующий раз — непременно. Прекрасное ощущение.

— Тогда еще должно быть одно особенное кафе у самой реки. Непременно с верандой.

— Есть уже такое. Будем мимо идти, увидишь.

— Отлично. Так вот, пусть все, кто сидит на веранде, видят оттуда море. И никакого другого берега, вода до самого горизонта, запах йода и водорослей, все как положено, без обмана. А как только расплатятся, выйдут на набережную — бац! — снова река. И другой берег — вот он, рукой подать, вброд перейти — раз плюнуть. Но всегда можно вернуться на веранду. И сидеть там сколько заблагорассудится.

— Популярное станет место.

— А то. Что дальше? Твой ход.



— Давно думаю, что надо бы слегка перемешать времена года. Аккуратно, без перегибов. Просто, к примеру, изредка снег в июле. Выпал, полежал полчаса, тут же растаял, все танцуют. И продолжают загорать.

— Тогда уж и оттепели посреди зимы. А то нечестно.

— Они здесь и так каждый год бывают.

— Не просто какой-нибудь жалкий плюс один по Цельсию, а хорошая, добротная, жирная оттепель. Плюс пятнадцать, и подснежники прут как на дрожжах. На буйном цветении садов, впрочем, не настаиваю. Перебор.

— Будешь смеяться, но тут и без нашей помощи пару лет назад каштаны в декабре цвели. И форзиции в январе. И кстати, никто не погиб, не замерз, весной снова цвели как миленькие, такие молодцы. Впрочем, ты прав, нельзя полагаться на волю случая. Зимние оттепели не менее важны, чем июльский снег, значит — будут. По рукам?

— По рукам. Теперь смотри, есть такая важная штука, как зеркала. С зеркалами вообще отдельная песня. Вернее, великое множество песен, все — хиты. Хоть альбом записывай... Знаю, что у тебя на уме — входы и выходы из ведомого в неведомое и, соответственно, наоборот. Для чего еще и нужны зеркала, все так. Но здесь у них будут и другие обязанности. Настолько пустяковые, что их вполне можно считать развлечениями. Из зеркал станут порой выглядывать чужие отражения и, смущенно хихикая, исчезать, уступая место закон-

ным владельцам места. И конечно, в некоторых зеркалах дети смогут увидеть себя взрослыми, а старики — юными. Еще на зеркалах станут писать записки своим отражениям и порой получать ответы. И... Нет, стоп. Пошли прогуляемся. Да вот хотя бы к другой реке. Некоторые слова следует произносить оставаясь на месте, а другие — только на ходу.

— Как скажешь.

Они поднимаются и идут по берегу в сторону рынка, а я, забыв о приличиях, этюднике и упавших в траву кистях, вскакиваю, чтобы побежать за ними, — вот интересно, что я собираюсь делать, догнав? Не знаю и теперь уже никогда не узнаю, потому что, не сделав и шагу, падаю навзничь.

И просыпаюсь.

Я лежу в густой траве, чуть поодаль валяется деревянный икс, сложившийся из упавших кистей. Над моим этюдником вьются бабочки — белые, желтые, голубые, рядом деловито пасутся толстые утки. Мне очень смешно и немножко обидно — просто приснилось, надо же!

Вру. Совсем другая пропорция. Мне очень обидно и немножко смешно. Ровно настолько, чтобы не заплакать от разочарования.

Просто приснилось.

«А может быть, и не приснилось, — думаю я. — То есть приснилось, конечно, но не „просто“. Может быть, это были духи-хранители полян и ручьев, местная разновидность фэйри, или даже какие-нибудь мелкие локальные божества. Такие типы, если верить соответствующей литературе, обычно с удовольствием насылают волшебный сон на всех, кто встретится на их пути. Вот и на меня наслали. Вполне может так быть».

Вот теперь мне уже действительно очень смешно. И совсем чуть-чуть обидно. Исчезающе малая величина, можно игнорировать. Духи! Божества! Волшебный сон! А ведь только третьего дня справку о полной психической нормальности выдали — для управления автомобилем. Бедный наивный старенький доктор. Знал бы он, что творится у меня в голове. Особенно если поспать на солнцепеке.

Кстати, да. Солнцепек — это многое объясняет.

Я лежу в густой мягкой траве и курю сигарету. Мне больше не обидно. И даже не смешно. Мне — хорошо. Такое специальное, ни на что не похожее «хорошо», для которого нет антонима «плохо». И вообще никакого антонима. Без вариантов.

«А башмаки на мосту, — думаю я, — это и правда была бы отличная традиция. Куда лучше дурацких замков с именами молодоженов, под тяжестью которых уже перила всюду гнутся».



Башмаки на мосту, — думаю я, — это очень красиво. Отличный образ. Нежный, стилистически безупречный абсурд. Надо бы их хоть нарисовать, что ли. Как висят на перилах моста, привязанные за шнурки, на фоне темной тяжелой зелени, звонкой золотой воды, линялого июльского неба и обманчиво далеких храмов.

А можно вообще ничего не рисовать, — думаю я. — А взять да и повесить на мосту башмаки. Просто так, низачем. Чтобы было. Чтобы появилось то, чего раньше не было и без меня не стало бы никогда. Строго говоря, именно это и есть искусство. Картинки и прочее рукоделие — только средство, самый простой и понятный метод изменения мира, а не конечная цель, как принято считать».

Я смотрю на свои ноги, обутые в дурацкие лакированные ботинки с острыми, как шпаги, носами. Прежний владелец, мой дед, разносил их на совесть. Вид ботинок неописуемо ужасен. Я надеваю их, только когда собираюсь как следует поработать, чтобы ноги не уставали. Более удобной обуви у меня не было никогда. И наверное, уже не будет.

«Мне, конечно, просто напекло голову, — думаю я. — Поэтому и приснилась всякая прекрасная ерунда, местами переходящая в горячечный бред. С другой стороны, развешивать башмаки на мосту — это была бы прекрасная традиция. И почему бы мне не попробовать ее основать? Вот прямо сейчас. Уж мои ботинки вряд ли кто-то сопрет. Их в руки-то взять страшно».

Поднимаю с травы сперва себя, а затем и засохшие кисти, складываю этюдник. Какая теперь работа. Разве что после доброго литра кофе, а ближайший дружественный кофейник находится на другом берегу Вильняле. То есть у меня на кухне. Перейти через мост — и я практически дома.

Мой мост находится в стороне от туристских троп и традиционных свадебных маршрутов. Поэтому замков с именами молодоженов тут и дюжины не наберется. В таком количестве они кажутся вполне элегантным украшением. А подвешенные в правильном месте дедовы башмаки превратят этот мост в... э-э-э... икону стиля. Насколько это возможно для моста.

Господи, да чего тут раздумывать. От этих башмаков давным-давно пора избавиться, цена изведенного на починку клея уже наверняка превысила их первоначальную стоимость, по дедовским заверениям немалую. Просто рука не поднималась вынести их на помойку. А поскольку я не могу себе позволить держать в двенадцатиметровой студии ненужный хлам, приходилось делать вид, будто в дедовских башмаках мне как-то особенно упоительно работается. Что, в общем, чистой воды ерунда и самогипноз.

«К тому же, — думаю я, вспоминая сон, — новый путь сейчас определенно не повредит. И не потому, что старый плох, просто мне нельзя подолгу сидеть на месте. Я от этого устаю. Настолько, что вон уже прямо за работой

засыпаю. В середине дня. Это, вообще-то, совершенно ненормально. Верный признак переутомления, избавиться от которого можно в момент — просто придумав что-нибудь новенькое. В идеале — совершенно новую жизнь.

А двести шагов, отделяющих середину моста от моего порога, вполне можно пройти босиком. Уж в июле-то точно можно».

Я разуваюсь.

Стоя босиком на теплом, нагретом солнцем мосту, люблюсь на дело своих рук. Ботинки подвешены просто отлично, именно там, где надо. Все-таки чувство композиции у меня — о-го-го. А уж сегодня я — просто живое воплощение чувства композиции. В том смысле, что ничего, кроме нее, не чувствую.

Внезапный порыв не по-летнему холодного ветра сметает с моста конфетные фантики и сожженные солнцем листья, треплет полы моей рубахи, подталкивает в спину — давай, давай, иди уже отсюда, — а мне хоть бы хны. То есть теоретически понимаю, что ветер холодный, но не мерзну. Совсем.

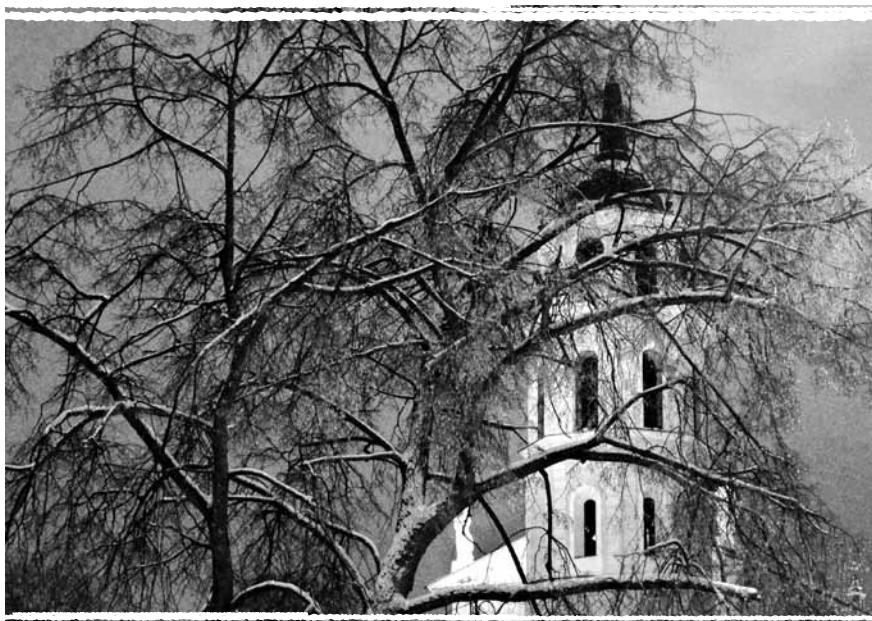
Огромная черно-сизая туча стремительно, как у нас заведено, заволакивает добрую половину неба, последний солнечный луч отчаянно пробивается сквозь прореху, но секунду спустя исчезает и он, и вот тогда я понимаю, что нужно срочно бежать в дом. Потому что сейчас как хлынет — мало не покажется. А мне бы еще стул с веранды забрать. И одеяло.

На нос мне падает первая холодная капля. И еще одна, и еще. Ничего-ничего, я уже почти во дворе. А дождь пока совсем не такой сильный, как можно было бы ожидать. Не по-летнему мелкий и слишком скудный для такой роскошной тучи. Протягиваю вперед руку, открытой ладонью вверх, чтобы поймать и лизнуть пару дождевых капель.

И останавливаюсь, и зачарованно гляжу, как на мою ладонь одна за другой опускаются крупные снежинки.

## Улица Кривю

Krivių g.



### Халва в шоколаде

Все началось с халвы в шоколаде.

Ну, то есть.

На самом деле все началось задолго до халвы. Если вообще хоть что-то с чего-то началось. Что не факт.

Но все равно здорово звучит: «Все началось с халвы в шоколаде». Просто невозможно удержаться, чтобы не повторять эту фразу снова и снова, пока во рту не станет сладко, вопреки утверждению Ходжи Насреддина, или кто там у нас соответствующий первоисточник.

«А все-таки началось с дедушки Жюля, — думает Люси. — Потому что для меня с дедушки Жюля началось вообще все, в том числе органическая жизнь. Даже имя он мне придумал. И настоял, чтобы так и записали в документах: „Люси“. Какое счастье, что его никто не мог переспорить. Хорошее дурацкое заграничное имя, сама лучше не выдумала бы».

«„Все началось с дедушки Жюля“ — тоже неплохо звучит, — думает Люси. — Дедушка Жюль против халвы в шоколаде, кто победит?»

Победит, безусловно, дедушка Жюль, потому что в начале было слово. А в начале этой конкретной истории — очень много слов. Дедушка Жюль был самым лучшим в мире рассказчиком. И вообще самым лучшим в мире — всем.

«Мне с ним очень повезло, — думает Люси. — Какая же я молодец, что родилась именно в этой семье! Конечно, почитав „Бардо Тёдол“, поневоле начинаешь чувствовать себя совсем конченым лузером: сидишь тут как дура, потому что не сумела ловко переродиться в каком-нибудь сияющем мире божественного лотоса или, скажем, среди вечно наслаждающихся дэвов, тоже ничего так инкарнация... С другой стороны, родиться любимой внучкой дедушки Жюля — серьезное кармическое достижение. Может, я нарочно дэвом не стала, потому что дед в это время жил именно здесь. Они меня буквально на коленях умоляли, всем миром: переродись у нас, пожалуйста! А я — ни в какую. Простите, ребята, в следующий раз обязательно, а сейчас у меня дела в другом месте. И они горько заплакали и обещали ждать».

Люси сидит на дереве и смотрит в небо. Там, наверху, парят над городом воздушные шары: темно-синий

с желтым значком, похожим на замочную скважину, красный с надписью «Nord», белый с цветком клевера, бирюзовый с рекламой пива, радужный с черным слоником. «Дедушке Жюлю они бы очень понравились, — думает Люси. — Не удивлюсь, если он сейчас сидит на каком-нибудь облаке и смотрит на шары сверху вниз. Взрослый человек, доктор гуманитарных, а все-таки наук, физику в школе учила, но вот совершенно, ни капельки не удивлюсь!»

Дедушка Жюль не раз во всеуслышание заявлял, что не собирается после смерти лежать в гробу. Дескать, никогда эта идея ему не нравилась. Жив ты или мертв, а света и свежего воздуха вокруг должно быть много.

Дед и в погреб-то не любил спускаться. Не боялся, конечно, он вообще ни черта не боялся, а именно не любил. А тут — гроб! Душно, тесно, темно. «Поэтому, — рассказывал дедушка Жюль, — я заключил договор с одним ангелом».

Дело, по словам деда, было зимой, в Кракове, еще до войны. Ангел сидел на площади Рынок, лязгал зубами от холода и вид имел потерянный, как с неба свалился.

Строго говоря, именно это с ним и произошло.

Остальные люди ангела не то вовсе не видели, не то просто не обращали на него внимания, бежали мимо по своим делам, подняв воротники. А дедушка Жюль заметил беднягу, пожалел, ободряюще похлопал по

крылу, напоил дешевым подогретым вином в ближайшем кабаке, сидел с ним и травил байки, не умолкал до самого вечера, пока ангел не начал смеяться. А когда ангелы смеются, они возвращаются домой, на небо, это каждый ксёндз знает. Ну ладно, заврался, не каждый. Только самые старые и умные. Да и те — через одного.

На прощание ангел твердо пообещал своему спасителю, что, когда придет срок, спустит ему с неба веревочную лестницу. И уж тогда главное — не замешкаться, не оробеть. И не выдохнуться на полпути. И конечно, не свалиться. Потому что ловить никто не станет, так у ангелов не принято. Если уж человек взялся лезть на небо, пусть справляется сам.

Что дедушка Жюль справится с любой лестницей, можно было не сомневаться. В юности он сбежал из дома с бродячими циркачами, странствовал с ними несколько лет и успел выучиться куче вещей, чрезвычайно полезных человеку, всерьез планирующему забраться на небо. Как будто заранее знал, что пригодится. В цирке же он получил звонкое заграничное имя Жюль; впрочем, время от времени дед принимался уверять, будто взаправду родился в далекой Франции, самым что ни на есть расфранцузским французом, но потом его украли цыгане, спасаясь от погони, добежали аж до самого Балтийского моря и только там бросили младенца, на радость бездетному жемайтскому рыбаку. И Люси ему верила. Мало ли что в паспорте написано «Юргис» и ме-

стом рождения значится рыбацкий поселок Йодкранте, написать что угодно можно.

Люси вообще верила каждому слову деда.

А как, скажите на милость, не верить человеку, который дожил до восьмидесяти девяти лет, похоронил жену, сказал: «Пожалуй, и мне пора, хорошего понемножку», а потом не захворал, не умер, как прочие старики, а взял да и пропал без вести. Исчез, совсем исчез! До сих пор ничего не нашли. Не то что тела — пуговицы от рубашки.

«И не найдут, — весело думает Люси. — Разве что со спутника случайно сфотографируют, как он там по облакам с ангелами скачет, и тут же засекретят информацию на веки веков. Небось сидит сейчас на самой пухлой тучке, смотрит на мои шары... ну, скажем так, на наши с князем шары. И наверняка страшно мной гордится. Говорит ангелам: „Смотрите, какую внучку воспитал!“ И те уважительно кивают, покачивая тяжелыми крылами. А я правда ничего так получилась. Даже знакомым ангелам не зазорно показать».

Дед с бабкой жили в Заречье на улице Кривью. И Люси с ними, потому что в детских садах вечно не хватало мест, а отец с матерью никогда не были выдающимися борцами за житейские блага.

Поэтому Люси жила у папиных родителей. И в школу потом там же пошла. Домой ее забирали только на

выходные — возить ребенка каждый день туда-сюда было бы долго, неудобно и совсем не по дороге.

Старики, заполучившие в полное распоряжение любимую внучку, были счастливы, молодые родители — свободны, а о Люси и говорить нечего. Хотя по-настоящему она осознала свою удачу гораздо позже, задним числом, в детстве-то просто живешь как живется, не оценивая, в голову не приходит, что может быть как-то иначе.

Бабушка Рая работала в библиотеке, зато дед был совершенно свободен, и с понедельника по пятницу весь мир принадлежал им с Люси. Такой прекрасный, удивительный мир, щедро снабженный дедовскими комментариями.

Слушать деда было огромным счастьем. И этого счастья Люси досталось с избытком. Дедушка Жюль каждый день будил ее новой утренней сказкой и потом практически не умолкал до самого вечера, когда приходило время приступить к особой, многосерийной, бесконечно длинной сказке на ночь. Люси засыпала почти мгновенно, поэтому за двенадцать без малого лет они так и не добрались до финала. Одна надежда, что дед однажды приснится и все-таки расскажет, чем там дело кончилось. Наверное, сам пока не знает, не успел сочинить, пока жил на земле, а на небе, ясное дело, не до того, особенно поначалу.

Накормив внучку завтраком, дед уводил ее гулять. Гуляли почти в любую погоду, только ливень, град и совсем уж лютый мороз могли заставить их сидеть в четырех

стенах. Дедушка Жюль не любил подолгу оставаться на месте, для него и город-то был тесноват, не то что дом.

По каждой улице Старого города они прошли несколько сотен раз, не меньше, и по дороге дед всегда рассказывал Люси какую-нибудь новую историю; с тех пор Вильнюс навсегда стал для нее суммой множества разных городов, по большей части удивительных. К примеру, в одном из них по вечерам загорались электрические фонари, в другом люди до сих пор ходили по улицам с горящими факелами, в третьем выращивали специальную породу ночных собак-поводырей с сияющими глазами, в четвертом над городом летали воздушные змеи из светящейся бумаги, жители пятого покупали в аптекарских лавках очки с волшебными стеклами, позволяющими видеть в темноте (а днем — сквозь стены). В шестом же горожане раз и навсегда решили проблему уличного освещения, договорившись с луной, чтобы она всегда была полной и не ленилась пробиваться сквозь самые плотные тучи. Главное — не забывать о ежемесячной плате. Всего-то три воза картофельных блинов, говорить не о чем; дело за малым — наловчиться добрасывать их до самого неба. Но в каждом поколении непременно рождается девочка или мальчик, наделенные соответствующей чудесной способностью, так что все в порядке.

И это — только одна деталь. По всем остальным параметрам между собравшимися по воле рассказчика в одном месте и времени городами наблюдались не менее



яркие различия. Число разночтений множилось по мере прогулок, и в Люсиной голове превосходно уживались десятки одновременно сосуществующих Вильнюсов, почти не пересекающихся, но каким-то удивительным образом сливающихся в один многомерный город; большинство виленчан даже не подозревали о близости иных пространств, но некоторым счастливицам удавалось по нескольку раз на дню пересекать невидимые границы, так толком и не осознав, что с ними случилось.

«И с другими городами, наверное, примерно так же обстоит, просто мы с дедом там не живем и ничего о них не знаем», — думала тогда Люси. Собственно, до сих пор так думает. Отличное наследство оставил любимой внучке дедушка Жюль, лучше не бывает.

Холм, под которым спит князь\*, был совсем рядом с их домом. Когда поднялись туда впервые, дед начал было рассказывать: «Говорят, что под этим холмом похоронен князь Гедиминас...» — и тут же осекся, потому что Люси скривилась, изготовившись зарыдать. В детстве она слышать ничего не желала ни про какие похороны. Что такое смерть, не понимала и страха перед ней не испытывала, но идея зарывать человека в землю казалась ей со-

---

\* Здесь и далее речь идет о князе Гедиминасе, который, согласно легенде, основал Вильнюс после того, как переночевал в месте, где сливаются реки Вильняле и Нерис, и увидел там сон про железного волка. Почему всякий увидевший во сне железного волка должен немедленно строить новый город, современный психоанализ не объясняет.

вершенно ужасной. Даже если человек не возражает и вообще лежит тихо, не прыгает и не разговаривает, как показывают мертвых в кино.

— Все это, конечно, глупости, — решительно сказал дед. — Ничего не знают, а туда же — болтать. Никто тут не похоронен.

Люси мгновенно успокоилась и устала на него требовательно и выжидательно — дескать, а как взаправду?

— Это большой секрет, — дед перешел на шепот. — С меня в свое время взяли слово, что я никому ничего не скажу. С другой стороны, тогда никто не догадывался, какая замечательная внучка у меня однажды родится. Даже не знаю, как быть.

— А если я тоже дам честное слово, что никому ничего не скажу? — с замирающим сердцем спросила Люси.

— Ну, пожалуй, — поразмыслив, согласился дедушка Жюль. — Ты человек надежный. До сих пор ни разу меня не подвела.

Со слов деда выходило, что под холмом спрятана большая пещера, а в той пещере крепко спит древний князь Гедиминас. Люди думают, будто давным-давно, тысячу лет назад\*, князь приказал построить город Вильнюс, и очень ему за это благодарны.

---

\* На самом деле менее семисот. Годом основания Вильнюса считается 1323 год.

Но все не так просто. На самом деле однажды князь уснул в лесу под холмом, и во сне ему привиделся город. И такой это был хороший, интересный и приятный сон, что князь решил не просыпаться. От добра добра не ищут, чего он там, наяву, не видел. Друзья и слуги не смогли его добудиться, поэтому постарались устроить поудобнее — укутали теплыми одеялами, чтобы не замерз, перенесли в пещеру, чтобы дождь не намочил, а вход в ту пещеру замаскировали, чтобы никто не пришел и не побеспокоил спящего князя. Так хорошо спрятали вход, что до сих пор никто найти не может, представляешь?

Люси кивнула. Подумала и строго спросила:

— А как же на горшок?

Умение вовремя проснуться, чтобы успеть на горшок, было для нее в ту пору важнейшим из искусств.

Дед опешил. Ну то есть это Люси сейчас понимает, что сумела его озадачить. А тогда дедушка Жюль просто ответил не так быстро, как обычно.

— Я думаю, князь просто не пил перед сном ни чаю, ни компота. Так что на горшок ему не надо. Может спокойно спать.

Люси это объяснение полностью удовлетворило. Она была готова слушать дальше.

— И вот какой прекрасный город приснился князю, — заключил дед, сделав широкий жест рукой. — А когда человеку больше ста лет подряд снится один и тот же сон, он становится таким плотным и ярким, что его мо-

гут увидеть другие люди. В старину подобные вещи то и дело случались, но потом люди разучились спать по долгу, и сны у нас стали короткие, бледные, мелкие, как лужи, сами поутру их вспомнить толком не можем, не то что другим показать. В общем, повезло нам с тобой, что здесь живем. Другого такого города-сна на всем белом свете больше не осталось.

— А мы с тобой тоже снимся князю? — осенило Люси.

— По всему выходит, что снимся, — кивнул дедушка Жюль и полез в карман за папиросами. — Иначе откуда бы мы здесь взяли?

В другой раз Люси наверняка стала бы тревожиться: а что будет, если князь проснется? Что ли, все исчезнет? И мы тоже? Может, пойдем отсюда, не будем топтать? А почему забор не построили, чтобы никого близко не подпускать? Но в тот день на холме царила такая умиротворяющая атмосфера, что она и сама знала: никто не проснется, ничего не исчезнет, напротив, еще многое появится, все всегда будет хорошо, как сегодня. И даже еще лучше.

— А если вдруг князю приснится, как будто я катаюсь на велосипеде? — спросила Люси деда, когда он пришел рассказывать ей традиционную ночную сказку. — У меня тогда от этого сразу делается велосипед?

Она весь день об этом думала. Велосипед был самой страстной ее мечтой. Ничего в жизни Люси не хотела так сильно, как велосипед, ни в детстве, ни потом, когда

выросла. Дедушка Жюль об этом, конечно, знал. И уже почти год понемногу откладывал деньги на покупку, но дело продвигалось медленно. Жили они бедно, едва дотягивали от дедовой пенсии до бабушкиной зарплаты, у Люсиных родителей дела обстояли примерно так же, но это она только сейчас понимает, тогда-то казалось — мы живем лучше всех. Для полного счастья не хватало разве что велосипеда, но Люси даже в голову не приходило, что его можно просто купить в магазине. Думала, велосипед может появиться только в результате какого-нибудь волшебного чуда, и терпеливо (насколько это возможно) ждала.

— Конечно сделается, — ответил ей тогда дедушка Жюль. — Но сны, сама знаешь, дело такое, капризное. Что хочет, то и снится. Думаешь весь день о рыцарях и феях, а потом ночь напролет ругаешься во сне с добрейшим соседом. Ну, или наоборот. Лично я не знаю способа увидеть тот сон, который нужен, по заказу. А уж другого человека заставить — вообще не представляю, как такое сделать. Поэтому будем просто ждать и надеяться.

Он хотел сказать: «ждать до Нового года», потому что к этому времени необходимая сумма должна была наконец накопиться. Но прикусил язык. Вдруг что-то не срastется. Нет уж, пусть будет настоящий сюрприз.

Ждать до Нового года, кстати, не пришлось. Буквально через две недели друзья родителей отдали им подержанную, но исправную «Бабочку», которая стала слиш-

ком мала для их подросткового сына, и это был самый лучший подарок к Люсиному пятому дню рождения, какой только можно вообразить.

Но «Бабочка», думает Люси, просто счастливое совпадение. Князь тут, скорее всего, ни при чем. Способ переписываться с ним я придумала гораздо позже. И это действительно началось с халвы в шоколаде, я точно помню.

Халву в шоколаде, большие тяжелые конфеты в форме кирпичиков, мама привезла из Москвы. Ездила туда в командировку, вечерами пропадала в театрах, времени на походы по магазинам не оставалось совершенно, да и денег особо не было, все командировочные растренькала на театральные билеты. Уже перед самым отъездом спохватилась — надо же хоть каких-то гостинцев домой привезти. Заскочила в первый попавшийся гастроном, купила там разных московских конфет, понемногу, граммов по двести-триста.

Поэтому халвы в шоколаде оказалось всего восемь штук. Одну съели пополам мама с папой, а остальные сграбастала Люси — сразу после того, как попробовала. Это был единственный раз, когда она не смогла заставить себя поделиться. Ни с кем. Даже с дедом. Стыдно было — жуть. Но оторваться от халвы в шоколаде оказалось выше ее сил. Ничего вкуснее в жизни не пробовала. Съела все конфеты за один вечер и побежала к маме: давай скорее купим еще таких! Сто килограммов! Пожалуйста! Была готова обещать перемыть за это все чашки на свете

и заполнить кривыми закорючками ненавистные прописи до самой последней странички, но мама развела руками: я бы и рада, но у нас такие не продаются. Может, еще когда-нибудь в Москву попаду, тогда обязательно побольше привезу.

Это был серьезный удар. До сих пор Люси в голову не приходило, что в разных городах продаются разные продукты. И к примеру, московских конфет в Вильнюсе не найдешь. Не везут их так далеко. А может, везут, да не довозят, сами все съедают по дороге, и как же я их понимаю, печально думала Люси. Я бы на их месте тоже не удержалась.

Перед сном ее осенило: князь же! Дед говорил, мы ему снимся. А он уже тысячу лет спит. И про халву в шоколаде ничего не знает. Ее, наверное, совсем-совсем недавно изобрели. Уже после электричества и космонавтов. Вздохнула: ну, теперь хотя бы понятно, отчего такая несправедливость. И заснула, полностью удовлетворенная объяснением. А проснулась с мыслью: «Так, значит, надо ему рассказать».

Как рассказать спящему под холмом князю о халве в шоколаде так, чтобы он не проснулся, но информацию к сведению все же принял, — это был отдельный вопрос. Его Люси обдумывала очень долго, целых полчаса. И наконец нашла решение, простое и элегантное. Есть чем гордиться, весело думает Люси. Наверное, я была юный гений, маленький Моцарт, просто это не очень бросалось в глаза.

Дело было в воскресенье, поэтому пришлось ждать до завтра. Вечером ее отвезли в дедовский дом на улице Кривю и почти сразу уложили спать, а утром отправили в школу. Зато после уроков Люси сразу побежала на холм, даже портфель домой не занесла. Конфетная обертка ждала своего часа в потайном кармане, а большой кусок прозрачного стекла нашелся по дороге; Люси с самого начала не сомневалась, что так и будет. Чего-чего, а битого стекла на улице Кривю всегда валялось предостаточно.

Взобравшись на холм, вырыла неглубокую ямку, сунула в нее заранее приготовленную записку: «Это самые вкусные в мире конфеты, пусть они продаются у нас». Аккуратно разложила красно-золотистую фольгу с надписью: «Халва в шоколаде». Накрыла стеклом. Полюбовалась на дело своих рук и засыпала стекло тонким слоем земли. Потом, если захочется, можно будет раскопать и поглядеть, как сверкает под стеклом цветная фольга, не хуже настоящего золота и рубинов. Это называется «секретик». Все дети знают, что это такое, все их делают, и мама делала, и даже бабушка, хотя ужасно трудно в это поверить.

Зарыть секретик — все равно что закопать клад, а потом однажды вернуться и его найти. Интереснее собственного секретика может быть только чужой. Поэтому Люси была совершенно уверена, что ее секретик — достаточно важное событие, такое и сам князь

не пропустит, даже во сне. И обязательно захочет узнать, что за сокровище зарыли прямо на его холме. И вот тогда...

Трудней всего оказалось дождаться результата. Время вдруг потекло медленно-медленно, дни стали длинными и тягучими, как перед летними каникулами. Так всегда бывает, если очень сильно чего-то ждешь. Люси этого терпеть не могла. Поначалу она каждый день обходила все окрестные магазины, проверяла — а вдруг уже? Но халвы в шоколаде по-прежнему нигде не было.

Промаявшись до следующих выходных — целую вечность! — Люси уныло сказала себе: «Ничего не вышло». Тихонько, чтобы не услышали взрослые, поплакала в подушку и выкинула московские конфеты из головы. Нет так нет.

Она поторопилась. Не знала, что за неделю такие вещи не делаются. Должен пройти хотя бы месяц, а то и целый год, или даже сто лет. Это уж как повезет.

Но в тот раз все-таки хватило месяца.

Халву в шоколаде принес домой дед. Получил пенсию, по традиции зашел в булочную за тортом, заодно и конфет купил, в красивой красно-золотой фольге. Высыпал на стол — лопай сколько хочешь! И никак не мог понять, почему Люси стоит столбом, прижав руки к щекам, смотрит изумленно то на него, то на конфеты, то опять на него. Как будто он ей сластей никогда в жизни не поку-

пал и теперь бедный ребенок не знает, что с ними делать. Решил подать пример. Взял одну конфету, развернул, откусил половину, сказал внучке: «Открывай рот», сунул ей оставшийся кусок. Молча жевали вкусную халву в шоколаде, глядя друг на друга во все глаза, как будто только что познакомились.

Люси, конечно, все ему рассказала. Ее давно распирало от тайны, но поначалу надеялась устроить деду сюрприз, а потом решила — раз ничего не вышло, то и рассказывать не о чем. Но теперь-то, теперь!

Дедушка Жюль слушал ее внимательно, не перебивал. Удивленно хмурился. Потом сказал:

— Ну ты даешь.

Помолчав, добавил:

— Ты большая молодец. Очень здорово придумала. Но больше князя по пустякам не беспокой, вот тебе мой совет.

— Почему?! — изумилась Люси.

Не то чтобы она собиралась нынче же вечером снова бежать на холм. У нее и так было все, что нужно для счастья, даже халва в шоколаде, ешь — не хочу. Но вдруг завтра еще что-то понадобится? Получить это будет очень просто. Зарыть секретик на княжьем холме и подождать. Месяц — это, конечно, очень долго. Но «через месяц» звучит гораздо лучше, чем «никогда».

— Понимаешь, — сказал дед, — князь все-таки взрослый человек. Мужчина. Большой начальник. Ты же директора своей школы видела? Ну вот, а князь еще строже.

Привык всеми командовать. Всю жизнь серьезными делами занимался — то у него война, то охота, то переговоры с иноземными послами. А теперь целый большой город во сне видит — куда уж серьезней! И вдруг ты со своими записками. Сегодня конфет захотела, завтра новую куклу потребуешь или чтобы по телевизору одни мультфильмы показывали...

Люси, потрясенная столь смелой идеей, даже рот распахнула. Одни мультфильмы целый день — вот это была бы жизнь!

Но деда перебивать не стала.

— Конечно, в первый раз князю было интересно получить от тебя записку, — говорил он. — Это внесло в его жизнь приятное разнообразие. Оно и понятно, давненько ему никто ничего не писал. Но если записок станет много, князю быстро надоест иметь с тобой дело. Подумает, что ты просто несмышленная девчонка, которую интересуется всякая бесполезная ерунда. Это, конечно, неправда, но поди ему объясни. Поэтому и советую: больше не беспокой князя по пустякам. А то рассердится, и что тогда делать?

— А что будет, если он рассердится? — испугалась Люси.

— Не знаю. Скорее всего, просто перестанет обращать на тебя внимание. И уж тогда хоть сто записок ему напиши, не прочтает.

На этом месте Люси чуть было не разревелась. Это же самое обидное — когда на тебя не обращают внимания,



вот честное слово, лучше бы ругались. Но вовремя вспомнила, что ничего страшного пока не случилось.

И никогда не случится, решила она. Ни за что не стану писать князю, пока не придумаю что-нибудь по-настоящему интересное. Не хуже войны и охоты.

Больше они к этой теме не возвращались. Но всякий раз, когда дед приносил из булочной халву в шоколаде, Люси вспоминала о строгом серьезном князе и думала: чем бы таким его удивить? Чтобы он вообще обалдел. Чтобы — ух!

Так и не придумала тогда. И князя больше не беспокоила, хотя был, конечно, соблазн выпросить у него новый, «взрослый» велосипед, коньки и большой, как в Москве, парк аттракционов. И еще зоопарк!

А потом, гораздо позже, лет в пятнадцать, Люси вдруг приспичило срочно стать красавицей, и князь казался ей единственным шансом: новой прической и даже маминной косметикой нос не исправишь. И вообще почти ничего. Вот бы князю вдруг приснилось, что я самая красивая девушка в городе, думала Люси. Ему-то все равно, а мне — важно! Почти решила, приготовила несколько фотографий киноактрис, на выбор, и даже написала соответствующее письмо. Но так и не отнесла его на холм. Если уж родной отец, совсем не серьезный человек и даже не начальник, смеется и называет тебя дурочкой, вряд ли можно ждать, что князь отнесется к проблеме с пониманием.

А потом Люси выросла. И взрослая жизнь оказалась такой непростой, увлекательной и захватывающей, что ей стало не до спящего под холмом князя. Иногда вспоминала дедушкину байку, думала: «Надеюсь, князю по-прежнему нравится видеть меня во сне». Улыбалась, мысленно махала ему рукой, как старому знакомому, которого приятно случайно встретить на улице, но говорить совершенно не о чем, так что и останавливаться не обязательно, приветливого жеста совершенно достаточно.

Все началось с халвы в шоколаде. А потом, много лет спустя, все началось с халвы в шоколаде еще раз.

Повзрослев, Люси совсем перестала есть конфеты. Просто как-то незаметно разлюбила сладкое, такое, говорят, со многими случается. Но однажды, ожидая скорого приезда гостей, свернула в отдел сладостей большого супермаркета, увидела там сверкающую золотым и красным фольгу, подумала: «Ну надо же, столько лет прошло, Москва теперь в другой стране, да что там Москва, весь мир изменился до полной неузнаваемости, и я вместе с ним, а любимые конфеты детства — вот они. Даже обертки те же самые, и фабрика по-прежнему „Рот Фронт“. Неужели до сих пор работает, никакие социальные бури ей нипочем? Удивительно.

Впрочем, ничего удивительного. Сама же князю фантик показала. И он с тех пор исправно видит во сне халву в шоколаде. Не факт, что в самой Москве она по-преж-

нему продается. А у нас есть и, вероятно, будет всегда. А я-то хороша, сто лет ее не ела. Вообще забыла, что есть на свете такая замечательная штука».

Растрогавшись, купила целый килограмм. По дороге домой не удержалась, достала одну конфету, развернула, откусила. Сладость невыносимая, а все-таки вкусно. Очень. Понятно, почему у меня в детстве крышу снесло.

«Ну и дурища же я, — подумала она, доев конфету. — Так больше ничего у князя не попросила. А ведь могла! Дед посоветовал с ерундой к нему пореже приставать, кукол не кланчить, а я совсем заткнулась. Перфекционистка хренова. Уж парк аттракционов точно можно было попросить. Американские горки и чертово колесо ничем не хуже войны и чумы. В смысле охоты. И тем более дипломатических переговоров с послами».

Достала из сумки вторую конфету. Машинально вертела в руках, думала: «Такие возможности профукала, лахудра! А теперь все, поздно, поезд ушел. Чудеса случаются только с маленькими девочками, взрослым теткам они не светят».

Сунула конфету в рот целиком — закусить горечь. Спросила себя: «А почему, собственно, не светят? Чем взрослые тетки хуже малолетних дурочек с косичками? Некоторые даже лучше! Вот я, например».

Развеселилась.

«Почему бы не попробовать еще раз, — думала она, разворачивая третью конфету. — Просто из интереса. Надо же мне понять, что это тогда было — совпадение или?..»

«Ох, какое тут может быть „или“. Естественно, совпадение. Не думаешь же ты?..»

«А ведь думаю! — покаянно призналась себе Люси. — Я порой еще и не такое думаю. Особенно в полнолуние. Или если башку на солнце напечет. Или когда обожрюсь шоколадом — вот как сейчас. С непривычки-то. Как пьяная, и голова кругом. Ух, я вам всем покажу!»

Что именно и кому «вам всем» — это она и сама хотела бы знать. Зато намерение «показать» было твердым. И стало еще тверже после четвертой конфеты, съеденной уже дома.

«Если уж действительно писать князю, — рассуждала Люси, — надо просить чего-то совершенно невероятного. Как московская халва в шоколаде в семьдесят дремучем году. А лучше — еще невероятней. Чтобы не удалось потом списать на совпадение, если все получится. Пусть будет настоящий эксперимент. Ученый я или где?»

После пятой конфеты она сочла проведение эксперимента своей профессиональной обязанностью и принялась обдумывать заказ. «На худой конец, сойдет и парк аттракционов, хотя сейчас лично мне от него немного радости, вестибулярный аппарат совсем ни к черту, — думала Люси. — Ну и вообще, хочется чего-то совсем уж невыносимо прекрасного. Слопаю еще пару конфет — пойму, чего именно. В детстве меня, если не ошибаюсь, после седьмой осенило. Надеюсь, не придется пересчи-



тывать это волшебное количество с учетом разницы в весе. А то ведь погибну во цвете лет!»

Она благополучно одолела еще две конфеты, запила их целым литром зеленого чая, торжественно пообещала себе не прикасаться к сладкому еще лет двадцать и уснула, чрезвычайно довольная неизвестно чем. Вероятно, просто собой и жизнью в целом. Таково благотворное воздействие шоколада, детских воспоминаний и научных экспериментов на здоровый организм.

А проснулась, как и тогда, в детстве, с готовым решением.

— Воздушные шары же! — сказала Люси вслух. — На которых летают. С корзинами. Ветка как раз недавно говорила, что в большом городе это, оказывается, совершенно нереально: нужно договариваться с аэропортом, мэрией и хорошо, если не с самим дьяволом; впрочем, с ним-то как раз было бы проще всего... Какой-то Веткин приятель придумал смешной бизнес — туристов на воздушных шарах катать, стал узнавать, что да как, и его жестоко обломали. Нет, никогда, ни за что. Не-воз-мож-но.

Вот и поглядим.

В тот же день Люси отправилась на княжий холм. В сумке лежали вырезанная из журнала картинка с парящими в небе воздушными шарами, синим и белым, и записка: «Было бы очень здорово, если бы над нашим городом иногда летала вот такая красота». Кусок про-

зрачного стекла она тоже прихватила с собой из дома. Времена, когда мусор валялся на тротуарах, давно миновали, и это, пожалуй, к лучшему.

Когда копала ямку на вершине холма, чувствовала себя полной дурой. Не имела ничего против — освежающее ощущение. Положила в ямку записку с картинкой, накрыла стеклом, засыпала землей. Тут же снова раскопала, полюбовалась на дело своих рук. Отличный секретик получился. Хотя, конечно, чересчур лаконичный. Пара сухих цветков и несколько ярких бусин существенно украсили бы композицию. Но лучше не сбивать князя с толку. «Ему со мной и так непросто, — вздыхала Люси, спускаясь с холма. — Ишь выдумала — воздушные шары ей подавай. Всем бы ваши заботы, дамочка. Всем бы вашу печаль».

А действительно, всем бы. Какая хорошая стала бы жизнь.

Сперва, конечно, Люси то и дело задирала голову к небу, вечно из-за этого спотыкалась, хорошо хоть не сломала ничего, кроме каблука. Потом понемногу успокоилась. Остыла. Утратила энтузиазм. Несколько месяцев спустя уныло заключила: ну вот, теперь ясно, что ничего не вышло. Строго спросила себя: а как ты думала? Чего ты вообще ждала, мать? Отвечать не стала, но подумала: значит, и с конфетами тогда было просто совпадение.

На этом месте Люси захотелось как следует пореветь, уткнувшись в подушку, но она так и не вспомнила,

с какого конца следует браться за это непростое дело. Все-таки очень давно не практиковалась. Целую вечность.

Впервые она увидела шары почти год спустя. Гуляла с коллегой в Бельмонтасе, как всегда, спорила о чем-то абстрактном — не ради торжества объективной истины, существование которой всю жизнь ставила под сомнение, а просто из любви к процессу. Как всегда в таких случаях, слушала себя как бы со стороны, упивалась изяществом сокрушительных аргументов, посмеивалась над безапелляционностью интонаций. Так увлеклась, что ничего вокруг не видела, даже о собеседнике почти забыла, поэтому ему пришлось дернуть ее за рукав: смотри же, смотри! Да не на меня, в небо.

Задрала голову и тут же заткнулась. Стояла как громом пораженная. Там, в безоблачной июньской бирюзе, медленно летели два шара, темно-синий с желтым значком, похожим на замочную скважину, и белый с цветком клевера. Из газовых горелок с шумными вздохами рвались столбы огня. Из корзин выглядывали люди, махали руками. Люси наконец опомнилась, подпрыгнула, заорала что-то невразумительное и принялась махать в ответ.

Пару недель спустя к синему и белому присоединились еще три шара — красный с надписью «Nord», бирюзовый с рекламой пива и радужный с черным слоном. А в конце лета — еще несколько. Воздушные шары над Вильню-

сом стали вполне будничным зрелищем, некоторые горожане даже перестали обращать на них внимание — летят себе и летят, обычное дело. Хотя большинство все же до сих пор останавливается посреди улицы, задрав голову и забыв о делах.

Люси сидит на дереве и смотрит в небо. «Отличная была идея, — думает она. — Просто отличная! Я у нас, получается, молодец. А уж князь-то каков молодец! Сам сообразил, что шаров может быть гораздо больше двух, любых цветов, и подсказывать не пришлось».

«Что теперь?» — спрашивает себя Люси.

Ответ известен заранее: все что угодно.

Абсолютно все что угодно.

Все.

# Улица Лапу

L a p u g.



## Много прекрасных дорог

Проснувшись, вдруг подумал, что надо пойти и купить Анне этот браслет. Потому что она его себе никогда ни за что не купит. Так и будет жить и хотеть, хотеть и не покупать, не покупать и мечтать, мечтать и жить без браслета, годами, я ее знаю.

И день рождения у Анны, можно сказать, на носу, всего через три с половиной месяца. Но ждать даты совсем не обязательно.

Дурацкий кожаный шнурок почти втрое дороже серебряной цепочки такой же длины. И бусины цветного стекла самые дешевые около сотни литов за штуку; о стоимости остальных лучше вообще не думать. В сумме выходит типичная хипповская фенька по цене золотого кольца. Но Анне нравится. «Смотри какое!» — и замерла у витрины на четверть часа, забыв обо всем.

Ну, значит, решено.

Думал, труднее всего будет выбрать, там же все по отдельности продается — шнурки, бусины, даже застежки. Ошибешься, и выйдет в итоге совсем уж без-

вкусная дрянь. Но, оказавшись у витрины, сразу уверенно ткнул пальцем в темно-синий шнурок. Застежка? Вон та, в виде тролля. Бусины? Ох, сколько же их тут.

— У нас сейчас рекламная акция. Тому, кто покупает шнурок и застежку, две бусины в подарок, — неожиданно сказала продавщица. — Выбирайте.

Это упростило дело. Подарок — это просто отлично. Никакой ответственности. Потому что еще две бусины Анна сможет выбрать сама. Деньги-то на них уже отложены. Почти не задумываясь, взял зеленую с пурпурными искрами и лиловую с прозрачными голубыми пузырьками внутри.

Продавщица ловко нанизала бусины на шнурок, приладила замок, примерила браслет, чтобы продемонстрировать, как он будет смотреться на женской руке. Одобрительно покачала головой:

— У вас безупречный вкус. Очень красивая минималистическая композиция. Обычно надо хотя бы четыре бусины, а еще лучше — шесть. Но тут я бы, пожалуй, ничего добавлять не стала.

Вот и прекрасно.

За работой, как водится, все вылетело из головы, но после обеда вдруг вспомнил о покупке. Достал, принялся разглядывать. Вертел в руках синий кожаный шнурок. Думал: где-то я уже видел очень, очень похожий. Синий, кожаный... Стоп. Да у меня же такой был. В детстве. И бусины были. Тоже, кстати, две. Синяя из мутно-

го, непрозрачного стекла и зеленая деревянная, с длинной кривой царапиной и облупившейся возле отверстия краской. Ну надо же. Совершенно, получается, забыл.

Совершенно забыл.

Сидел, откинувшись на спинку кресла, глядел на купленный для Анны синий шнурок, вспоминал свой. Вроде очень важная была вещь. То ли амулет, то ли трофей, то ли часть какой-то сложной игры. И куда-то потом делся. Интересно куда? Вот же черт, теперь и не вспомнишь. Вечно так с этими детскими воспоминаниями, все равно что аквариумных рыбок руками ловить — выскальзывают, уплывают, а если даже ухватишь, все равно никакого толку, будет биться, беззвучно открывать рот, тарачить бессмысленные глаза, только и остается — плюнуть и отпустить.

Плюнуть и отпустить, однако, не получалось.

Решил: пойду проветрюсь. Заодно кофе выпью. И сразу назад. Прости, дорогая работа. Сама видишь, и рад бы тобой заняться прямо сейчас, но не выходит. Я скоро, скоро.

Только на улице заметил, что вышел, намотав на запястье синий шнурок. В смысле Аннин браслет. Хотел было снять и спрятать в карман, но передумал. На руке точно не потеряется, а в кармане — как повезет. Пусть будет, все равно никто не увидит, рукава длинные.

В любимом кафе по случаю начала теплого весеннего вечера выстроилась очередь. По местным меркам, довольно большая, человек шесть. Зато и новых книг на полке для свободного обмена прибавилось. С книжкой вполне можно постоять.

Взял книгу, не глядя, только по весу понял, что выбрал самую толстую. Невольно ухмыльнулся, вспомнив анекдот про таблетки от жадности, дайте самую большую — всегда знал, что это про меня. Прочитал на корешке: «Город, который виден сердцу». Автор Рэй Хауз. Пожал плечами — никогда о нем не слышал. Открыл наугад.

*Мой друг жил в великолепной сверкающей башне, стоявшей в конце тропинки, вдоль которой лежали чудесные предметы, умевшие видеть волшебные сны. И всякий раз, когда я там проходил, им снилось, что они — большие каменные дома, в которых живут добрые люди. А тропинке снилось, что она — длинная, мощенная булыжником дорога.*

*В доме друга лежал мертвец, который все время на что-то жаловался и просил, а по комнатам ходила моложавая ведьмочка, у которой была дочка на выданье. Мы с другом запирались в его каморке и часами хихикали над всякими глупостями. Но потом у нас с другом вышла размолвка, о причине которой уже никто не помнит, кроме разве что вечных звезд, которым все равно.*

*С тех пор мой друг забыл, что я знаю тропу к его дому, и я перестал ходить по ней волшебными ночами. И всегда, каждый раз, когда ноги выносили меня на тот перекресток, Госпожа Ночь шептала мне на ухо: «В мире так много прекрасных дорог».*

— Здравствуйте, — в третий раз повторила красивая девушка, мисс Латте две тысячи одиннадцать, согласно надписи на переднике. — Чего вам хотелось бы?

Так и не дождавшись ответа, принялась подсказывать:

— Ристретто? Эспрессо? Капучино? Апельсиновый? Мятный со льдом? Миндальный? Банановый? Беличий?

Очнулся. Переспросил, не веря своим ушам:

— Беличий? Это как?

— Просто латте с ореховым сиропом.

Сказал:

— Давайте.

Положил на прилавок три монеты. Бросил сдачу в коробочку для чаевых. И поставил книгу Рэя Хауза обратно на полку.

Чур меня.

Получив картонный стаканчик с беличьим кофе, вышел на улицу. Сел за единственный свободный столик. Закурил.

Сидел долго, цедил сладкую ореховую бурду, курил одну крепкую самокрутку за другой. Вспоминал.

В детстве у меня тоже был друг, к которому я часто ходил в гости. А он ко мне — никогда. Впрочем, мой друг определенно жил не в сверкающей башне, а в обычном двухэтажном доме, обнесенном ветхой оградой. Крыльцо заросло травой, вторая ступенька совсем сгнила, и ее надо было переступить. В доме его не водилось ни ведьм, ни мертвецов, даже родителей друга никогда не было, ну или они просто сидели на втором этаже и не показывались. Я пересекал пустую, пропитанную волнующими запахами кухню, потом короткий коридор и входил в комнату, где сидел мой друг. Вспомнить бы еще, как его звали. Нет, не получается. И лицо? Не помню лица. Кажется, он тоже был мальчик. Старше меня, но не намного. Года на два-три. Или больше? Нет, так я ничего не вспомню, разве что придумаю заново и сам себе поверю, а это не дело.

Иногда мы с другом играли — строили города из всего, что подвернется под руку, карточные домики там соседствовали с тряпичными шалашами, сахарными башнями и крепостями из мелких речных камней. Рисовали планы местности, придумывали горожанам имена, биографии и занятия, записывали их в толстую тетрадь в зеленой обложке, которую мне нельзя было брать домой и даже выносить из комнаты в коридор. А иногда просто болтали, говорили взахлеб, перебивая друг дру-

га, подхватывая реплики на лету. О чем? Не помню. Но, определенно, о самых интересных в мире вещах. И очень много смеялись.

Больше всего на свете я тогда любил ходить в гости к другу, а потом возвращаться домой. Вроде бы он жил совсем недалеко от меня. Минут пятнадцать пешком, не больше. Но были какие-то трудности с дорогой. Какие именно? Не помню. Зато помню, что, отправляясь в путь, всегда обматывал запястье синим шнурком с бусинами... Ну да, точно же! Шнурок был нужен, чтобы ходить к другу. Без него я почему-то никогда не мог выйти на нужный перекресток, просто не получалось, и все. Хотя дорогу я вроде бы отлично знал... Или нет? Кажется, дорога каждый раз была немного другая. То через пустырь, то через рощу и овраг с ежевикой, то узкая мощеная мостовая между обнесенными заборами частными домами. И я, кстати, сам тогда думал, что дорога спит и видит сны. И я хоть не сплю, а тоже вижу дорожные сны, пока по ней иду. Интересно все-таки в детстве устроена голова, и куда что потом девается.

О моих походах к другу нельзя было рассказывать родителям. То есть мне никто не запрещал, не говорил, что это секрет. И я поначалу попробовал что-то рассказать. Отец внимательно слушал, улыбался и назвал меня фантазером. А мама вдруг испугалась. Это я точно помню, потому что никогда прежде не видел, чтобы взрослые чего-то боялись. Ну или просто не понимал. А тут вдруг понял. И сам тоже испугался. Не своих историй, а мамин-

ного страха. Это было так... Так необычно. И неожиданно. И очень опасно, хотя я, конечно, не понимал, в чем, собственно, состоит опасность.

И сейчас не понимаю.

Да не волнуйся так, ему просто приснилось, сказал отец, и я ухватился за эту подсказку. Приснилось, конечно приснилось.

И больше не рассказывал им ничего. А когда шел к другу, говорил, что буду играть в соседнем дворе. Мне верили, потому что в других вопросах я никогда не врал. Даже про двойки и разбитые чашки.

Это продолжалось лет пять. Или шесть? Но в какой-то момент я вдруг перестал ходить в гости к другу. Почему? Что стало не так? Тоже поссорились, как эти двое из книжки? Вроде нет. Ничего такого не припоминаю. Да и с чего бы нам ссориться.

Или?..

Вспомнил.

Родители выбросили мой шнурок с бусинами.

Я вообще-то хорошо его прятал. У меня было много прекрасных тайников по всему дому, один другого надежнее. И когда после пятого класса меня на все лето отправили в Клайпеду к бабке, я тщательно спрятал все свои сокровища и поехал, не подозревая, что в мое отсутствие родители собираются делать ремонт.

Конечно, по ходу дела они нашли мои тайники. И выбросили все, что там было: увеличительные стекла и охотничьи патроны, цветную проволоку и безголового



пластмассового индейца, латунный ключ от неизвестной двери, огрызок химического карандаша, красную рыболовную блесну и шнурок с двумя бусинами.

До сих пор не знаю, почему родители так поступили. Можно было сложить находки в коробку, дождаться меня, отдать. Ну, предположим, сказать: «Разбери свой хлам». И к примеру, строго спросить, откуда взялись патроны. А они просто выбросили и забыли.

Никогда в жизни я так не плакал.

Потеря ли так на меня подействовала, или просто в поезде продуло, но в тот же вечер я слег с воспалением легких. Проболе́л несколько месяцев, а когда наконец выздоровел, все, что было раньше, до болезни, даже поездка к морю и утрата сокровищ, стало казаться делом столь давним, что я уже и сам толком не понимал, что было, а что нет.

Я и сейчас, честно говоря, не понимаю.

Погасил очередную сигарету, выбросил в урну пустой картонный стаканчик. Встал. Пошел в сторону дома. Но не своего нынешнего, а родительского, на Лапу. И заметил это, только когда зашел во двор. Даже вздрогнул от неожиданности.

Вот так так.

Подумал: да уж, хорош я был, когда рассказывал дома про рощи, пустыри и ежевичные овраги. Когда тут у нас практически самый центр города, до Святых Ворот рукой подать. И до рынка. И до вокзала. Впрочем, частный

сектор тоже поблизости имеется, хоть какая-то часть моих воспоминаний выглядит вполне реалистично.

Подумал: наверное, мне все-таки снилось. Бывают такие многосерийные сны с продолжением, обычное дело, они мне до сих пор время от времени снятся, а уж в детстве-то...

Подумал: мне бы сейчас хоть одним глазком взглянуть, как там дела.

И вдруг вспомнил: путь к дому друга всегда начинался за гаражом дяди Джона. Надо было пролезть в щель между ним и стеной, сесть на корточки, намотать шнурок на руку, соединить бусины, синюю и зеленую, а потом можно идти в любую сторону, все равно не заблудишься.

И гараж — вот он, на месте. Удивительно прочное оказалось строение. Давным-давно побежден ржавчиной трофейный «опель», ради которого был поставлен гараж, умер сам дядя Джон, и его маленькая смуглая жена с непривычным уху тягучим именем Наира, а бессмысленная жестянка все еще стоит в дальнем конце двора, что хочешь, то и делай.

Что хочешь, то и делай, вот именно.

Что хочешь, то и...

Что хочешь?

Подумал: а ведь у меня теперь есть новый синий шнурок, лучше прежнего. И две бусины на нем.

Подумал: ну а вдруг.



Подумал: какой дурак, господи.

Едва протиснулся в щель между гаражом и стеной. Счастье, что не разъялся, а то застрял бы, на радость соседской детворе.

Сел на теплую еще траву. Собирался закурить, но передумал. Вместо этого закатал рукав и аккуратно придвинул зеленую бусину к лиловой. Нарушил *красивую минималистическую композицию*, балбес.

Поднялся. Не раздумывая, перемахнул через невысокий забор. Прошел метров пятьдесят вниз по улице, свернул на узкую, десятками ног вытоптанную тропинку между домами. И еще немного прошел. Так вот же он, перекресток. Ну, точно! Налево — к Святым Воротам, направо — к вокзалу, прямо — к дому Нёхиси. По этой улице до пустыря, а там наискосок и, считай, пришел. Как можно было забыть? Заблудиться в районе, где родился и вырос? Эй, что у тебя вместо головы?

Нет ответа.

Ну и ладно, подумаешь.

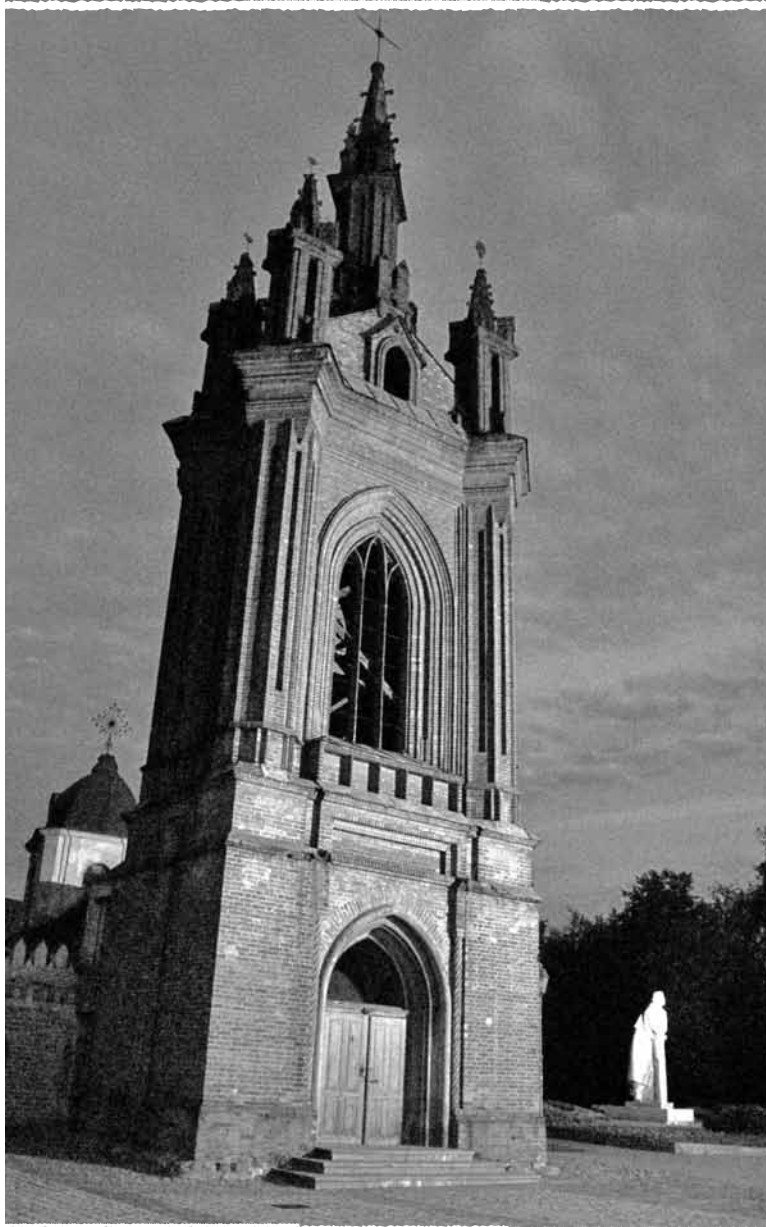
Когда пересекал пустырь, все-таки испугался. Вспомнил нехстати, что не было здесь никакого пустыря, по крайней мере с тех пор, как построили школу, сразу после войны, отец говорил. Да я сам ходил в эту школу первые три года, пока не перешел в английскую. А теперь нет никакой школы, только пустырь, высокая трава, величественные чертополохи и кривые низкорослые сливовые деревья. И земляника. Здесь всегда было полно земляники...

Где — «здесь»?

От страха начало подташнивать. Руки светились, как бумажные фонари, и тряслись хуже, чем с самого тяжелого похмелья. Нагнулся, сорвал несколько ягод, кинул в рот. Невольно улыбнулся: какие сладкие! Проглотил. И еще пригоршню. И еще.

И прибавил шагу.

Дорога спала и улыбалась во сне.



## Улица Латако

Latak g.

### ...ВЫМЫШЛЕННЫХ СУЩЕСТВ

— Широко известна история о князе Гедиминасе, который однажды прикорнул на свежем воздухе, увидел судьбоносный сон про железного волка, поутру побежал к психоаналитику, получил совет не маяться дурью, а занять себя делом и, добросовестно следуя рекомендации лечащего жреца, построил наш город, — говорит Люси. — Альтернативная версия гласит, что на самом деле князь до сих пор продолжает спать и мы ему снятся; с легкой руки некоторых моих знакомых, она уже тоже более-менее известна и продолжает угрожающе расплзаться по информационному пространству. Однако при этом довольно редко вспоминают, где именно задремал Гедиминас. А дрых он непосредственно на месте погребения мифического князя Свинторога, или Швянтарегиса, Святого Рога, если тебе угодно. Это же черт знает что может присниться, когда спишь на кладбище! Так что Гедиминас, можно сказать, легко отделался... Тебе еще не скучно?

Хайди прекращает фотографировать возвышающуюся над городом башню Гедиминаса и мотает головой:

— Что ты, мне очень весело.

И это чистая правда.

Когда Хайди сказали, что самая настоящая университетская профессорша согласилась провести для нее экскурсию по городу, она обреченно поблагодарила и приготовилась пережить один из самых длинных и тоскливых дней своей жизни в обществе строгой сухопарой дамы с аккуратной стрижкой и необозримым запасом никому не интересных исторических фактов. Однако профессорша оказалась Хайдиной ровесницей. На встречу она явилась в оранжевой футболке с зеленым жирафом, и у Хайди сразу отлегло от сердца.

Экскурсия превзошла самые смелые ее ожидания. Правда, поначалу Хайди немного нервничала, потому что никак не могла разобрать, когда Люси шутит, а когда говорит серьезно. Потом поняла, что Люси и сама не всегда это знает, и расслабилась.

— Это самое кладбище, то есть место при впадении реки Вильни в Нерис, называется долиной Швянтарагиса, — говорит тем временем Люси. — И спорю на что угодно, ты это ни за что не выговоришь!

— Не выговорю, — соглашается Хайди. — Даже пытаться не стану.

И чтобы хоть как-то компенсировать эту трагическую потерю, снова фотографирует башню.

— Кстати, регулярные сожжения мертвых литовских князей превосходно подействовали на окрестную флору и фауну. В долину Швянтарагиса стали залетать черные бабочки с полутораметровым размахом крыльев, а в Нерисе завелись говорящие сомы; возможно, они, как

и борхесовская рыба-Стоглав, в прошлой жизни произнесли по сотне бранных слов, а может быть, напротив, были великими молчальниками и получили наконец шанс беспрепятственно выговориться. Никто толком не знает, на каком языке они говорили, однако профессор Альфонс Парчевский неоднократно доказывал в своих трудах, что это была так называемая вульгарная латынь\*.

Хайди совершенно точно знает, что у самой большой в мире бабочки размах крыльев чуть больше тридцати сантиметров. А в говорящих сомов, пожалуй, не поверила бы и в четыре года, когда верила вообще всему подряд. Но слушает как замороженная.

— А вот и костел Святой Анны, — говорит Люси. — Быстро же мы с тобой ходим!

Хайди фотографирует красивый костел из красного кирпича и внимательно слушает.

— Шестнадцатый век, поздняя готика. Я бы даже сказала — внезапно спохватившаяся. Имя спонсора проекта, как водится, осталось в веках: всем известно, что денег на строительство храма дал великий князь литовский Александр. А как звали архитектора, никто не потрудился записать на хорошем нетленном пергаменте, вот и гадают теперь любопытные историки, кто нам эту конфетку слепил. Не то сам *Nobilis Benedictus*, то бишь Бенедикт Рейт, который, только не падай, возводил кра-

---

\* Конечно же, польский юрист, историк, этнограф, общественный деятель и политик Альфонс Ипполитович Парчевский, возглавлявший юридический факультет, а в 1922–1924 годах бывший ректором Вильнюсского университета, ничего подобного в своих трудах не доказывал.

ковский Вавель, укреплял Пражский Град и строил там Владиславский зал; не то позабытый неблагодарными потомками Николас Энкингер из Данцига. Но бог с ними, главное, что построили вот такую, почти неприличную, на мой взгляд, красоту. Любой виленский таксист, провозя тебя мимо, непременно сообщит, что Наполеон, который, как известно, драпал через наши края из России, восхищался Святой Анной и публично изъявлял желание увезти ее с собой в Париж. Не знаю, не знаю. По идее, ему, бедняге, тогда совсем не до перевозки храмов было. Видимо, с горя Наполеон отдал нашу Аннушку в распоряжение своих кавалеристов, которые не просто засрали костел под потолок, но еще и деревянную утварь пожгли. Неплохо бы нам с тобой туда зайти и убедиться, что за двести лет за ними успели худо-бедно прибраться, но сегодня понедельник, так что мы пролетаем — закрыто. Если захочешь, зайдешь сама завтра или в любой другой день... А вон на том холме, говорят, чуть ли не со времен восстания 1831 года живет бессмертный заяц-людоед; в него мало кто верит, но холм виленчане, на всякий случай, обходят стороной. Хотя, казалось бы, такое хорошее место для прогулок. И ты на всякий случай обходи. Береженого, как говорится, Бог бережет.

— Заяц не может быть людоедом! — возражает Хайди, растерянно озирая безлюдные склоны.

Но на всякий случай фотографирует холм.

— Уверена, мама говорила ему то же самое, — невозмутимо кивает Люси. — Однако этот упрямец поступил по-своему. И в каком-то смысле не прогадал.



— Я простой немецкий турист, — вздыхает Хайди. — Твои рассказы о местной фауне привели меня в смятение. Я хочу пива и на ручки. Но можно просто пива.

— Я простой чичероне, — смиренно говорит Люси. — Дай мне евро, и я тут же заткнусь. И побегу кормить своих бедных голодных детей. Всю сотню!

— Об этом и речи быть не может. Мне не жалко евро, но вдруг ты и правда замолчишь? Я не переживу.

— Значит, сотня моих детишек сегодня останется голодной, — благодушно соглашается Люси. — Оно и к лучшему, я совсем не уверена, что наспех выдуманных детей действительно следует кормить. В награду за разумную экономическую политику угощу тебя худшим пивом в городе. Не пугайся, на самом деле оно везде примерно одинаковое. Пошли!

И они сворачивают на узкую улицу, круто поднимающуюся вверх от реки.

— Ла-та-ко, — по слогам читает Хайди и фотографирует табличку с названием улицы.

— Ох, как же нам повезло! — восклицает Люси. — Посмотри наверх! Скорее!

Хайди послушно задирает голову и сперва машинально щелкает камерой, а уже потом, разинув рот, изумленно созерцает неопознанный, порхающий в воздухе объект, прозрачный, сверкающий в солнечных лучах, подвижный, гибкий, стремительный.

— Свэллу, — шепотом говорит Люси. — Прозрачная птица свэллу, водится только в Лейне; считается, что больше никто никогда нигде их не видел. Но к нам они

изредка залетают — видимо, их просто ветром заносит... Принято полагать, будто увидеть свэллу — редкостное везение. Ну, в общем, так оно и есть. Мне тридцать два года, я родилась в Вильнюсе, а свэллу видела всего пять раз. Это — шестой.

— Они что, совсем прозрачные? — Хайди тоже переходит на заговорщический шепот. — И... видно, что делается у них внутри, да?

— Возможно. Но точно никто не знает. Птицы свэллу никогда не подлетают к людям достаточно близко, чтобы мы могли полюбоваться на их внутренности.

И тут до Хайди наконец дошло, что она попала, как маленькая. В синем июньском небе парит, трепещет и сверкает большой прозрачный пластиковый пакет. Тьфу ты.

— Ты меня знатно разыграла, — вздыхает она.

— Разве? — удивляется Люси.

— На самом деле, мне даже жалко, что это пакет, а не птица, — печально говорит Хайди. — Прозрачная птица — это очень круто. Даже если она не людоед. И не говорит на вульгарной латыни.

— Не людоед, — подтверждает Люси. — И на латыни не говорит, будь спокойна.

— Пошли действительно пива выпьем. — Хайди прячет камеру в кофр. — Мне надо залить горе.

— А потом я отведу тебя к Барбакану, — кивает Люси. — Рядом с ним как раз есть дом, во дворе которого раньше жил василиск.

Вечером, когда они решили отметить окончание экскурсии бутылкой чилийского вина и двумя чашками щедро разбавленного сливками кофе, Хайди решила спросить:

— Это же был просто пакет, да? Прозрачный пакет, унесенный ветром.

— Как Скарлетт О’Хара, — рассеянно согласилась Люси. И, подумав, добавила: — На самом деле, я не знаю, что ты видела — птицу или пакет. Решать всяко тебе.

— Я простой немецкий турист, — сказала Хайди. — Наивный и невинный, как младенец. Я приехала сюда пить ваше литовское пиво, есть ваши кошмарные, уж прости мою прямооту, цеппелины и покупать дурацкие янтарные бусы. Я ни черта не знаю о том, как тут у вас все устроено. Поэтому пусть будет прозрачная птица свэллу из Лейна. Мне так больше нравится.

Но про себя уныло подумала: «Конечно, самый обыкновенный пакет». И два стакана чилийского вина ничего не изменили.

Уснуть она, однако, не могла. Хотя десять часов почти непрерывной ходьбы в содружестве с выпитыми за день пивом, сидром и вином должны были не просто ласково ее убаюкать, а натурально свалить с ног.

Но сон не шел. От выпитого ныла голова, от долгой ходьбы — ноги. Хайди немного помаялась и села разбирать фотографии. Хоть какое-то занятие.

Сорок с лишним изображений башни Гедиминаса она безжалостно отправила в корзину, оставила себе два, да и то скорее для порядка, назвать их удачными у нее бы

язык не повернулся. Зато Святая Анна вышла на удивление неплохо, и холм просто отличный, хотя хваленый заяц-людоед так и не выскочил попозировать. Стена и табличка с названием улицы: «Ла-та-ко». «Дурацкий снимок, но его следует оставить на память об одном из самых нелепых жизненных разочарований. А вот и наш волшебный летающий пакет свэллу, и уж его, красавца, я сейчас отправлю в корзину, — думала она. — И оттуда еще раз удалю, не поленюсь, чтобы уж навсегда... Ой. Что это?»

Так и не завершив роковой щелчок мышью, Хайди уставилась на экран.

«Я очень устала, — сказала она себе. — И слишком много выпила. И кстати, почти ничего за весь день не съела. Это мне только казалось, что алкоголь не действует. Всем так поначалу кажется, а потом ловят по всему дому маленьких зеленых чертей, остановиться не могут».

Она встала. Пошла в ванную, плеснула холодной воды на разгоряченное чело. Подумав, плеснула еще — на макушку. Потом выпила несколько глотков прямо из-под крана, чего никогда не делала даже дома, где вода, по идее, чище, чем тут. Или нет?

Успокоилась. Взяла себя в руки. Вернулась к компьютеру. Села. Выпрямила спину. Сделала глубокий вдох. Долго, внимательно разглядывала изображение на экране: голубое небо, белые облака, большая прозрачная птица размером с доброго гуся, только почти плоская, как рыба-камбала, унесенная ветром из своего родного Лейна, принесенная им в Хайдину жизнь с неведомой, но, несомненно, восхитительной какой-нибудь целью.

# Улица Пилес

Pilies g.



## Пингвин и единорог

— У всех, знаешь, свои представления о возможном и невозможном. Чтобы выбить человека из колеи, должно случиться нечто немыслимое, но не вообще «немыслимое», а с его точки зрения.

Нина берет чашку с кофе, подносит ко рту, но рука замирает где-то в конце второй трети маршрута, и чашка возвращается на стол.

— Вот если сейчас на улице появится... ну, я не знаю, к примеру, единорог, вот, да, белый единорог, пройдет по тротуару мимо этого кафе, ты как хочешь, а я не стану верещать или там просить, чтобы ты меня ущипнул, да я вообще бровью не поведу, потому что в мою картину мира единорог вполне укладывается. Совершенно не противоречит моим представлениям о возможном. Мало ли что я раньше никогда не видела единорогов, так я и пингвинов не видела — своими глазами, я имею в виду, по телевизору не считается, там еще и не такую херню показывают, так что не доказательство, но мы же не ставим вопрос, верю ли я в пингвинов.

— Ну вот, кстати, пингвин — это было бы ничего, — смеюсь. — Вопрос не в том, веришь ты в пингвинов или нет. Все дело в неуместности. Пингвин в нашем городе, на этой улице, в это время суток — такое же немислимое событие, как единорог.

— Да ну, — отмахивается. — Почему немислимое? Вполне себе мыслимое, маловероятное просто, но в мою картину мира все это вполне укладывается, и в чью-нибудь еще — тоже, а в чью-то, например в твою, — нет, я только это и хотела сказать. — И, помолчав, добавляет: — А вот если он сейчас мне все-таки позвонит, ты, ясно, и бровью не поведешь, скажешь: «Ну вот видишь», а зато я... ну, не знаю даже что. В обморок, наверное, все-таки не упаду, я в него еще ни разу в жизни не падала, но сердце точно остановится, и хорошо, если не прыгнет в горло, а то ведь подавиться можно и умереть... Да ладно, все равно, я тогда с ума сойду даже быстрее, чем подавлюсь. Потому что, если он вот сейчас позвонит, моя картина мира точно рухнет. И черт бы с ней, пакостная она у меня какая-то в последнее время.

Я не спрашиваю, кто этот таинственный «он», чей телефонный звонок не укладывается в представления о возможном, — пингвин или единорог. Я знаю, о ком речь. Вернее, догадываюсь. Но мне, в общем, не очень интересно. Вечно одно и то же. У каждой девочки непременно есть свой бездонный колодец, во тьме которого таится какой-нибудь очередной «он», который не зво-

нит, не приходит, не понимает или еще что-нибудь «не», мучает девочку, болван. Если в колодце никого нет, значит, был совсем недавно и скоро, вот буквально на днях, заведется новый, это, я так понимаю, закон природы: всякая замечательная девочка должна целыми днями пялиться в этот проклятый колодец и мучительно размышлять о поведении его обитателя, забыв, что вокруг, вообще-то, огромный удивительный мир, все чудеса которого, теоретически, к ее услугам. Вернее, были бы к ее услугам, если бы она не воротила нос, бормоча: «Спасибо, не надо», лишь бы отпустили поскорее обратно к колодцу, смотреть в темноту.

Нечего и говорить, что меня это страшно бесит. Но есть вещи, которые я не могу изменить.

А есть — которые могу.

Да, я отличаю одно от другого. Как правило.

Нина тем временем снова берет кофейную чашку и глядит на нее с некоторым недоумением. Дескать, знакомый предмет. Сейчас вспомню, что с ним обычно делают. Сейчас-сейчас.

Момент самый что ни на есть подходящий. Встаю, беру ее за плечи, разворачиваю к окну, говорю: гляди-ка.

По улице Пилес неторопливо шествует единорог. Сияющий белоснежный зверь с серебристой гривой — в общем, как на иллюстрациях к сказкам, только лучше, конечно, потому что живой. Следом ковыляет императорский пингвин, фрачная пара из мастерской



матушки-природы сидит на нем безупречно. Четверо прохожих стоят на противоположной стороне улицы разинув рты; дама лет сорока в малиновых шортах явно изготовилась завизжать; как поведут себя остальные, пока непонятно. Ладно, их проблемы. Девочка лет пяти за соседним столиком, которая вот уже полчаса с тоской во взоре ковыряла пирожное, теперь прилипла к окну. Не издает ни звука, даже маму, безнадежно увязшую в иллюстрированном журнале, пока не дергает. И правильно. Есть вещи, о которых мамам лучше не знать.

Нина не верещит, конечно, держит слово, но смотрит не отрываясь, глаза становятся круглыми, как у совы, губы складываются в испуганную улыбку, я уже почти торжествую, и тут у нее начинает звонить телефон. Нина вздрагивает, хватается сумку и принимается там рыться. Астматик, которому срочно понадобился ингалятор, в сравнении с нею — воплощенное спокойствие, айсберг, без пяти минут Будда. На пол с грохотом падают две связки ключей, кошелек, книжка, пестрый платок, еще ключ с брелоком в форме экзотической рыбы, снова какая-то книжка; наконец она достает телефон и, едва взглянув на экран — не тот номер! не тот! — швыряет его обратно. Потом, прикусив губу, начинает аккуратно складывать в сумку прочее имущество. В окно она больше не смотрит.

Какое-то время мы молчим.



— Слушай, — наконец говорит Нина, — что это за фигня была? Я имею в виду, эти звери на улице. Откуда они взялись?

— В соседнем переулке с утра кино снимают, — отвечаю. — Наверное, оттуда и взялись.

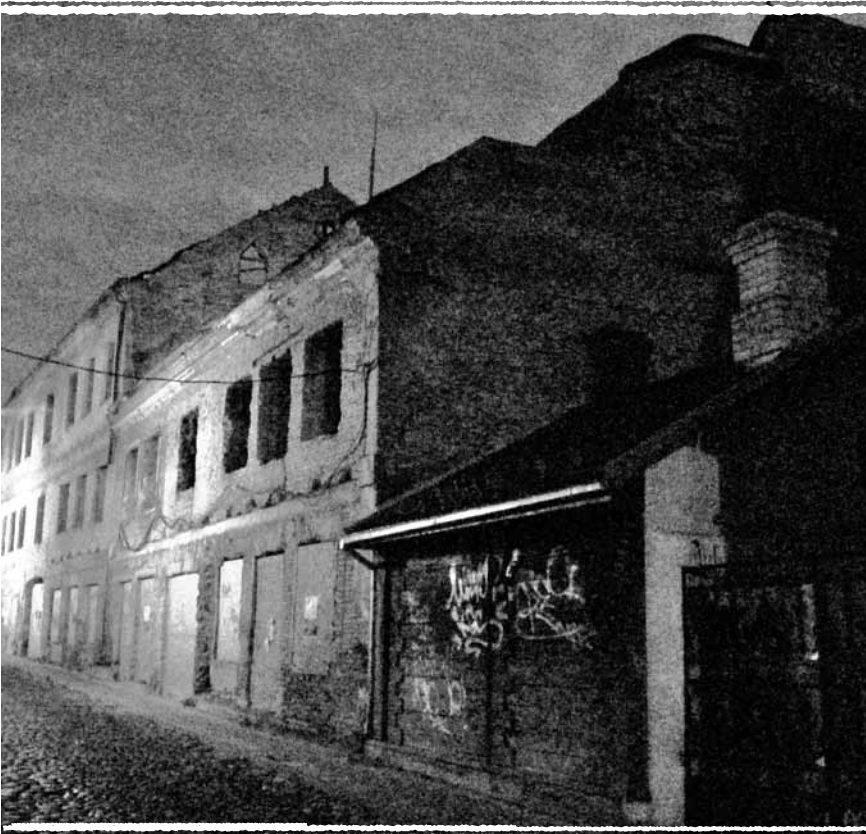
— А, — с облегчением вздыхает Нина. И разочарованно добавляет: — Ну да, тогда понятно.

Обманывать, я знаю, нехорошо, а в данном случае — просто немилосердно, но в моем сердце пока нет места милосердию. Тут уж ничего не поделаешь, надо просто подождать. Скоро опять появится.

Единорог и пингвин уже скрылись за углом. Девочка за соседним столиком снова принимается крошить свое пирожное. Иногда она поглядывает на маму, лицо ее при этом делается лукавым и упрямым. У нее есть тайна.

# Улица Пилимо

Py lim o g.



## Полиция города Вильнюса

Все было хорошо, пока Янина шла через двор, белый от вишневого цвета, разглядывая пестрые пропеллеры, развешенные на столбах вместо фонарей. Даже три старухи, несущие вахту на лавке, ее не насторожили — ну, бабки, подумаешь, надо же им где-то сидеть, а что вид неприветливый, так в их возрасте почти все так выглядят, особенно в сумерках.

Она не устояла перед искушением, уже в подворотне обернулась и показала зловещей троице язык, а потом побежала, разгоняясь, чтобы взлететь, в таком настроении это обычно сразу получается, но сейчас не вышло — ноги налились свинцом и словно бы прилипли к земле. При этом они не стояли на месте, а продолжали идти каким-то неведомым, самостоятельно выбранным маршрутом; Янина не знала, куда направляется, а они, похоже, знали, и как же ей это не нравилось.

Двор с вертушками и старухами находился, по ее ощущениям, где-то на спуске с холма, между улицами Басанавичяус и Калинауско, однако вышла Янина возле

Центрального рынка, и сердце ее сжалось в маленький твердый, зеленый, как неспелое яблоко (цвет она ощущала как-то особенно отчетливо), комок, тяжелый и вязкий, как пластилин. Обычно в это место ее заманивали хитростью, здесь назначали свидания любимые, сюда ее приводили за руку друзья, в этом направлении всегда бежали сорвавшиеся с поводка щенки и летели бабочки, которых ей поручали пасти. Но сегодня обошлось без ухищрений, Янину предали собственные ноги. Теперь они вероломно шагали по направлению к троллейбусной остановке. Минуты не пройдет, и Янина будет стоять там по стойке «смирно», лицом к проезжей части, не в силах заставить себя уйти или хотя бы обернуться и посмотреть в глаза убийце. Не то чтобы она верила, будто это может помочь, а все-таки хотела попробовать, но до сих пор ни разу не получилось.

Воздух стал густым и тошнотворно-сладким, кислый запах страха Янины смешался с терпким звериным ароматом невидимого убийцы, и это интимное соединение телесных испарений было, кажется, хуже всего, хотя в таком деле, конечно, всё — хуже. Янина содрогнулась от омерзения, попыталась повернуть или хотя бы остановиться, но ноги по-прежнему шли вперед, ей не удалось даже замедлить шаг, и тогда она наконец закричала от ужаса и отчаяния, но так и не проснулась. Ей никогда не удавалось проснуться от собственного крика. Наоборот, начиная кричать, Янина еще глубже увязала во сне, как в трясине, — похоже, здесь действо-

вало поганое болотное правило: не трепыхайся, тогда проживешь на целых три минуты дольше. Может быть.

До троллейбусной остановки оставалось всего несколько шагов, когда Янина услышала стук. Она встрепенулась, прислушалась и вдруг, о чудо, застыла на месте, так и не переступив роковую, черт бы ее побрал, черту. Стук становился громче, теперь он грохотал повсюду — впереди, позади, в небе и под землей, гудел в Янининой голове, вибрировал в животе, заполнил ее тело, и когда оказалось, что там больше не осталось свободного места, Янина взорвалась и глаза ее наконец открылись.

Она не вскочила, а выкатилась из постели на ковер, уткнулась лицом в его колючий ворс и только тогда осознала: спасена. На этот раз — спасена.

А потом Янина поняла, что стук раздается по-прежнему. И ладно бы просто стук — дверь ее, того гляди, вот-вот слетит с петель.

За окном чернильная тьма безлунной ночи начала наливаться свинцово-синим предрассветным мраком. Значит, где-то около шести утра. Кого, интересно, принесло в такую рань? В любом случае, благослови его Боже!

Янина встала на все еще непослушные ноги, набросила поверх пижамы старое вязаное пальто, заменявшее ей домашний халат, и поковыляла к двери.

— Кто там?

— Это полиция, — ответил женский голос. — У вас всё в порядке? Мы проходили мимо и слышали крики...

— Понимаю. Это я кричала, — сказала Янина. — Подождите, я открою. Сейчас.

Их было двое: худенькая остроносая молодая женщина с очень густыми каштановыми волосами, подстриженными и уложенными так неудачно, что они больше походили на огромную валяную шапку, чем на прическу, и седой мужчина лет пятидесяти, по-крестьянски кряжистый, флегматичный и основательный. Они с недоверчивым удивлением разглядывали сияющую Янину, которая сбивчиво повторяла:

— Спасибо! Спасибо вам, что зашли! Такое спасибо!

— А что случилось-то? — настороженно спросила женщина. Перейдя на шепот, уточнила: — В доме еще кто-то есть? — И, поколебавшись, почти не размыкая губ, добавила: — Муж?

— Нет-нет, никакого мужа. Я одна живу. И сейчас одна. Это я во сне кричала. Кошмар приснился. Очень страшный сон. А вы услышали, пришли и разбудили, спасибо вам за это... А знаете что? Давайте я вас кофе напою. Хотите?

Полицейские изумленно переглянулись и снова недоверчиво уставились на Янину.

— Я просто еще боюсь оставаться одна, — честно сказала она. — А вы, наверное, всю ночь дежурили, кофе не помешает. Правда же?

— Не помешает, — наконец решил мужчина.

А женщина просто улыбнулась.

Янина тоже заулыбалась в ответ и метнулась на кухню, бормоча:

— Проходите-проходите, разуваться не надо, я сейчас, я быстро-быстро, вот увидите.

Поставила джезву на самую мощную конфорку — не по правилам, конечно, хороший кофе надо томить на медленном огне, чем дольше, тем лучше, но сейчас, честно говоря, сойдет и просто умеренно неплохой. Не до жиру.

Полицейские нерешительно остановились на пороге кухни.

— Садитесь, садитесь! — затараторила Янина. — В кресло или на диван, все равно, куда нравится... Вы все-таки разулись? Ой, зря, не надо было! У меня тапочек нет..

— Ноги устали, — сказала женщина. — Вроде удобные туфли, но я их только второй раз надела. И уже часов семь не снимала. Мне сейчас разуться даже нужнее, чем кофе.

— Нехорошо в обуви на кухню, — добавил мужчина. — Обувь грязная, а на кухне еду готовят.

Он сел в кресло, его напарница с ногами залезла на диван, достала сигареты и нерешительно посмотрела на Янину.

— Курите, курите, я сама тут курю, — закивала она. Женщина чиркнула зажигалкой, жадно затянулась дымом и наконец представилась:

— Меня зовут Таня.

— А меня Альгирдас, — сообщил ее напарник.

— А я Янина. И наш кофе уже почти готов. Еще минуточку.

— Да вы не спешите, пани Янина, — хором сказали полицейские.

— Будем считать, что все это время мы делали обыск в вашей квартире, — добавила Таня. — Искали злоумышленника. Но так и не нашли.

— Найдешь его, как же, — вздохнула Янина. — Он, зараза такая, во сне остался. И ужас в том, что рано или поздно я снова туда засну.

Она разлила кофе по пестрым керамическим стаканам, привезенным когда-то из Гранады, поставила на стол сахарницу, достала из холодильника сливки, заглянула в буфет — порой там можно обнаружить какой-нибудь отбившийся от рук шоколад. И сейчас он, к счастью, нашелся — белый, с орехами. Янина раздробила плитку на мелкие осколки, чтобы гостям было удобно их брать, села на диван рядом с Таней, закурила и только тогда окончательно поверила, что проснулась. И чуть не заплакала от облегчения и одновременно от жалости к себе. Теперь, когда страх был побежден, на Янину навалилась усталость. Неудивительно — и трех часов не поспала. И ясно, что больше уже не получится. День, можно считать, пропал, в таком состоянии много не поработаешь.

— Снова туда заснете? — переспросил Альгирдас. — То есть этот сон вам регулярно снится?

— Вот именно, — подтвердила Янина. — Чуть ли не с детства. То есть первый раз он мне приснился в че-

тырнадцать лет, это я очень хорошо помню. Так перепугалась, что на Центральный рынок потом много лет не ходила, только на Кальварийский, хотя он гораздо дальше. Теперь, конечно, и на Центральный хожу, наяву-то он совсем не страшный. Хотя все равно неприятно...

— То есть что-то плохое всегда происходит с вами на Центральном рынке? — деловито уточнила Таня.

— Не совсем там, но рядом. На троллейбусной остановке на Пилимо.

— Ясно, — кивнула Таня. Достала блокнот и принялась конспектировать Янинины показания.

Янина открыла было рот, чтобы спросить: зачем записывать, это же просто сон, — но постеснялась и промолчала. Ну, надо человеку. Может быть, эта Таня на психоаналитика учится в свободное от службы время. И как раз сейчас пишет курсовую про страшные сны городских жителей. Можно считать это большой удачей. Янина давно ждала случая выговориться. Близким как-то неловко эту чепуху рассказывать, а чужим людям, да еще и полицейским — в самый раз. Полицейские — это даже лучше, чем, скажем, попутчики. Их, пожалуй, ничем не смутишь, всякого навидались.

— Меня на этой остановке все время убивают, — пожаловалась она. — То есть по-настоящему убили только в первый раз, ножом в спину, и это было так ужасно! Я имею в виду не удар, а то, что за ним последовало, процесс умирания. Как будто меня жевали, вернее, перемазывали в мясорубке. Не тело, конечно, а — меня. Душу, что ли? В общем, не знаю, как сказать. То, что я на самом

деле собой представляю. И сознание вытекало из меня, как сок. Постепенно. Медленно-медленно. Это было гораздо хуже физической боли, хуже вообще всего на свете... нет, я не смогу внятно объяснить. Это продолжалось так долго, что мне показалось — всегда, я почти забыла, что когда-то была жива и со мной происходили другие вещи, самые разные, приятные и не очень, но — другие... Неважно. Главное, что в тот раз меня все-таки разбудили. Папа проснулся, стал искать очки, зашел в мою комнату, спросонок задел книжную полку, все попадало, и от грехота я проснулась. Еле живая, руки-ноги ледяные, давление нулевое, сердце почти не билось, родители даже «скорую» вызывать хотели, но обошлось, я как-то сама ожила. И потом несколько дней боялась засыпать. Но усталость, конечно, взяла свое, и кошмаров больше не было, по крайней мере этого, про убийцу на троллейбусной остановке, не было несколько лет. А потом сон повторился, только до убийства не дошло, я тогда уже более-менее взрослая была, ночевала у мальчика, он меня очень вовремя разбудил, спасибо ему... И с тех пор мне эта дрянь время от времени снится, раз в год, иногда чаще: как я иду мимо Центрального рынка, подхожу к троллейбусной остановке, а там уже ждет убийца с ножом. И я вспоминаю, что сейчас случится, но убежать не могу, ноги не слушаются, и тогда я начинаю кричать. Обычно на этом месте меня кто-нибудь будит, я просыпаюсь в холодном поту — и все, свободна. На какое-то время. До следующей серии.

Янина остановилась, перевела дух и опасно покосилась на полицейских. Что они теперь считают ее идиоткой — это ничего, нормально, даже хорошо. Лишь бы не решили, что ситуация требует медицинского вмешательства. И не приняли меры.

Но во взорах полицейских она не обнаружила ничего, кроме сочувствия, причем скорее профессионального, чем человеческого. Так обычно смотрят на жен алкоголиков и матерей трудных подростков — дескать, жалко вас, пани, но таких, как вы, увы, много, и помочь вам всем способен разве что Господь Бог, а уж никак не правоохранительные органы. Хотя мы, конечно, сделаем, что можем.

— Ужасный сон, — наконец вздохнула Таня. — Действительно ужасный. Как вы спать одна решаетесь?

Янина пожалала плечами:

— Я не то чтобы «решаюсь». Просто так сложилось. Не могу же я спать с кем попало, даже ради безопасности. Пробовала когда-то, думаете, нет? Очень не понравилось... А тот, который не кто попало, живет в другом городе. У него там работа. У меня тут. Ничего не поделаешь.

— Работа — это да, — авторитетно кивнул Альгирдас. — Такое дело. Работой в наше время не бросаются.

Помолчали.

— К сожалению, нам уже давно пора, — сказала Таня, с явной неохотой покидая гостеприимный диван. — Спасибо вам за кофе. И попробуйте еще немного по-

спать. Сами же говорите, этот кошмар вам редко снится. Так что сейчас бояться нечего, да?

— Мне почему-то кажется, что если я засну прямо сейчас, то вернусь на эту проклятую остановку, — вздохнула Янина. — А если попозже, то уже, наверное, не вернусь. Как будто есть какая-то невидимая дверь, ведущая прямо туда. И она еще открыта, а какое-то время спустя как-нибудь сама захлопнется. Глупости, конечно, но лучше я потерплю до вечера. Чтобы уж наверняка.

— А все-таки поспать вам бы не помешало, — заметил Альгирдас. И с отцовской заботой, замаскированной под строгость, добавил: — Вы же не просто бледная, вы зеленая. Краше в гроб кладут.

Но Янина не стала ложиться в гроб, а, напротив, по пояс высунулась в окно и долго махала своим новым знакомым, пока они не свернули за угол. И только тогда почувствовала, что осталась одна. Но страшно ей уже не было. Чего ж тут страшного, если не засыпать? А засыпать-то мы и не будем, пообещала она себе. Мы сейчас сварим еще кофе и с книжкой под одеяло... А еще лучше будет одеться и пойти в парк. На ходу я точно не засну. Я и сидя-то спать толком не умею, в автобусе вечно мучаюсь... Да, пойти погулять — это самое надежное.

Она сняла вязаное пальто и пижаму, ежась от холода, натянула свитер и носки, взяла джинсы и, прижимая их к груди, рухнула на постель как подкошенная. Ноги отказывались повиноваться, в ушах звенел сладостный, убаюкивающий гул. Какой уж тут парк.





Сейчас, сейчас, говорила себе Янина. Вот только одну минуточку полежу и сразу встану. И сварю еще кофе. И потом пойду. Ух как я пойду!

Глаза ее тем временем закрылись. Джинсы, с которыми она обнималась, были тяжелые и теплые, так что в какой-то момент Янине показалось — она больше не одна. И значит, можно немножко поспать. Буквально минуточку. Совсем чуть-чуть.

Когда Янина говорила: «Если я засну прямо сейчас, то вернусь на эту проклятую остановку», она сама не очень-то верила в такую возможность. Боялась, да, но страх — чувство иррациональное; пробудившись после очередного кошмара, она поначалу вообще всего боялась, а потом снова почти ничего, как всегда.

Когда Янина представляла себе, что после ее пробуждения в спальне появляются невидимые открытые двери, ведущие обратно, в сон, и на то, чтобы они закрылись, требуется какое-то время, ей самой казалось, что это — просто причудливая игра воображения, нелепая фантазия, неожиданно звонкое эхо давнего юношеского увлечения сочинительством фантастических историй. «В конце концов, любой сон — это то, что происходит у нас в голове, — говорила она себе. — Значит, и дверь в голове, а это, считай, нигде, просто образ, причем не то чтобы очень удачный».

Однако на сей раз здравый смысл был посрамлен.

Почувствовав, что уже почти заснула, Янина вздрогнула, открыла глаза и обнаружила, что снова стоит на улице Пилимо, возле Центрального рынка, всего в нескольких шагах от проклятой троллейбусной остановки. В свитере и носках, прижимая к груди джинсы, то есть точно в таком же виде, как заснула, и это испугало ее больше всего. До сих пор ничего подобного не случилось — по крайней мере, Янина не могла припомнить, чтобы ей приходилось слоняться по своим сновидениям гольшом или, скажем, в пижаме. А то бы давно завела привычку засыпать при полном параде, причесавшись и наложив макияж.

Подвывая от страха, Янина принялась натягивать джинсы. Без штанов, с голыми ногами она чувствовала себя слишком жалкой и незащищенной. Нельзя сказать, что джинсы коренным образом изменили такое положение вещей, но, пока Янина их надевала, она свято верила, что это вполне может произойти. И еще, конечно, надеялась, что проснется от предпринятых усилий, но ничего не вышло. «Болото, проклятое болото, — в отчаянии думала она, — чем больше трепыхаешься, тем быстрее идешь ко дну».

Но, по крайней мере сейчас, Янина оставалась на месте. То есть не сделала ни шагу из тех пяти или шести, что отделяли ее от зеленой лавки под жестяным навесом, соседствующей с ней афишной тумбы и монументальной каменной урны в форме разевающего пасть льва; наяву такой, конечно же, не было, и ее присутствие, похоже,

оставалось единственным отличием этой троллейбусной остановки от настоящей.

Лучше всего было бы убежать отсюда куда глаза глядят, но об этом не могло быть и речи, по крайней мере пока. Ноги отказывались повиноваться, в этом сне они всегда сами решали, что делать, а интересы и намерения хозяйки были ногам до того самого места, откуда они, мерзавцы такие, росли.

«В принципе, а что помешает убийце самому подойти поближе? — тоскливо думала Янина. — Правильно, ничего. Зато на этот раз я его наконец увижу. И возможно, так перепугаюсь, что наделаю в штаны, зря я, что ли, их надевала. И вот тогда уж точно проснусь. Но, скорее всего, просто заору. И буду орать, пока кто-нибудь не разбудит. Хоть бы соседи в стенку постучали, что ли. Интересно, кстати, почему они никогда не стучат? Неужели их мои вопли совершенно не беспокоят? Немыслимо».

Занятая размышлениями, она неожиданно успокоилась — насколько вообще можно успокоиться в подобных обстоятельствах. И не закричала, а только зябко поежилась, когда увидела, как от афишной тумбы отделилась длинная гибкая тень, вернее, силуэт высокого человека, наделенного пластикой танцора. Широкие плечи, худые руки, длинные ноги, волосы собраны в хвост; лица пока не разглядеть, но и так понятно, что хорош, гад. Очень хорош. До сих пор Янина была уверена, что на нее охотится чудовище; она, впрочем, и сейчас так думала, но не могла не признать, что это чудовище

выглядит чрезвычайно привлекательно. «Так, наверное, лучше, — беспомощно думала она. — Если бы он оказался уродом, мне было бы еще и противно. А так — только страшно. Но когда я его не видела, только слышала шаги за спиной, было гораздо страшнее».

— Ни с места!

Женский голос, да такой звонкий, что с деревьев посыпались багряные листья и белые цветочные лепестки.

Гибкий красавец содрогнулся и как-то резко уменьшился в размерах. Теперь он казался подростком, по крайней мере издалека.

— Это полиция. Стоять. Руки за голову. А теперь, пожалуйста, бросьте ваше оружие на землю, — сказал другой голос, мужской.

Он звучал так флегматично, словно арестованный был, скажем, семьдесят третьим по счету на этой неделе.

Янина смотрела во все глаза, как двое полицейских надевают наручники на человечка, столь маленького и жалкого, что, будь она просто случайной прохожей, рассказывала бы потом знакомым, как сволочи-полицейские истязают дошкольников, Бога не боятся, никто им не указ.

В этом сне всегда царили густые, мутные предрассветные сумерки, но все же Янина явственно различала в полумраке светлые волосы мужчины и огромную шапку на голове женщины. «Все-таки у Тани очень неудачная стрижка», — подумала она перед тем, как проснуться.

## Улица Руднику

Rūdņinku g.



### Ловец снов

Ромина сидит на подоконнике и смотрит на улицу.

\* \* \*

У меня самая спокойная кошка в мире, думает Ромас. Я-то волновался, что здесь слишком мало места, ни побегать толком, ни поиграть. А ей для счастья нужно только окно.

\* \* \*

— А у тебя так бывает, что время от времени снится одно и то же место? — спрашивает Ева. — И ты во сне вспоминаешь, что уже там была?

— Конечно, — пожимает плечами Эрика. — Мне школа почти каждый день снится. Одна и та же. Наша. Как будто наяву ее мало.

— Нет, я имею в виду *ненастоящее* место. Которого на самом деле нет. Но во сне оно всегда одно и то же, и рядки там не меняются. Как в какой-нибудь игре, кото-

рую хоть на месяц забрось, а всегда можно начать с того места, где остановилась, по уже знакомым правилам.

— А-а-а, — многозначительно тянет Эрика.

Она, честно говоря, так и не поняла, о чем речь. Но надо делать вид, что все понятно. Чтобы Ева не назвала ее дурой. И не перестала с ней дружить.

— А расскажи, — просит она.

Внимательно слушать и кивать — это несложно. А пока Ева будет рассказывать свой сон, Эрика успеет придумать, как будто ей тоже что-нибудь такое снилось. Похожее. Чтобы Еве сразу стало ясно: они почти как сестры. Даже лучше.

— Мне часто снится, как будто в Вильнюсе есть метро, — говорит Ева. — И как будто это не просто метро, а такое особенное место. Там есть станции пересадки, с которых можно выйти в другой город. Я один раз вышла в Москве, там почему-то было очень страшно, я сразу убежала. И один раз в Нью-Йорке, там вполне ничего, я погуляла немножко. А в другой раз мне приснилось, что мы с какими-то людьми с этой же станции специально в Нью-Йорк за хот-догами бегали, потому что там они вкуснее, чем у нас, и я всем дорогу показывала, они еще в Нью-Йорке не бывали, не знали, как туда пройти. И времени почему-то не было, куда-то мы в этом сне спешили. Купили сосиски и быстро-быстро обратно, тем же путем... А еще в этом моем сонном метро есть такая ветка, по которой мало кто ездит, все боятся. Считается, что там на некоторых перегонах люди исчезают, по одному

человеку из вагона, и надо ехать обязательно с закрытыми глазами, обеими руками крепко держаться за сиденье и очень сильно хотеть *не исчезнуть*. Тогда, скорее всего, исчезнет кто-то другой, а ты доедешь до своей станции. Мне иногда снится, что я по этой ветке до конечной ежжу. Выхожу на окраине, где-то возле Новой Вильни, там всегда ранняя весна, земля залита водой, под водой еще лед, а прямо из воды растут березы, и на них уже проклюнулись листочки, хотя, по идее, еще рано — если лед не весь растаял. Мне там почему-то так хорошо! Когда была маленькая, думала, это мне рай снится. Никому не говорила, казалось, это — великая тайна. Хотя, по идее, просто сон. Тебе первой, кстати, рассказываю.

«Мне первой, — думает Эрика. — Мне первой! Ну надо же! Значит, мы действительно лучшие подруги, а не просто вместе домой ходим, потому что по дороге. Кому попало секреты не открывают».

Для нее это гораздо важнее, чем все сны в мире, вместе взятые. Но Эрика, конечно, ничего подобного не говорит. А, напротив, восклицает, прижав ладони к щекам:

— Вот это да! А может быть, правда тебе настоящий рай снится?

— Да нету никакого рая, — смеется Ева. — Ты прям как моя бабушка... Ой, смотри!

— Что?

— Какая кошка на окне сидит! Нет, не туда смотришь. Через дорогу. На первом этаже. Белая. Давай перейдем, пока машины стоят.

Машины действительно стоят перед красным светофором на повороте с Руднинку на Пилимо, и девочки быстро перебегают дорогу.

— Какая кошка, — вздыхает Ева. — Какая же, а!

«Кошка как кошка, — думает Эрика. — Белая, гладкая. Вот если бы пушистая!»

— Ух ты, смотри, какие штуки в окне, — говорит она. — Статуэтки африканские. И барабан. И ловец снов висит. Здесь, наверное, магазин? Типа «Индии», да?

Вопрос повисает в воздухе, Ева сейчас ничего не видит и не слышит — кроме кошки.

\* \* \*

Ромас сразу так решил: если живешь на первом этаже, твое окно, хочешь не хочешь, все равно станет чем-то вроде витрины. И лучше уж самому позаботиться о том, чтобы прохожим, которые, никуда не денешься, будут туда пялиться, было на чем остановить глаз. Он поставил на подоконник яркий керамический горшок с обильно цветущим красным эпифиллумом, окружил его деревянной армией резных индейских богов, маленьких, но чертовски суровых; поразмыслив, добавил пару позолоченных Будд — не помешают. Там же отлично поместились крошечный африканский барабанчик и купленная на Казюкасе дудка, почти безголосая, зато красивая. Сверху свисал самодельный ловец снов, оплетенный оранжевыми нитками, украшенный перь-

ями, в основном из утиных и вороньих хвостов; впрочем, было среди них одно ярко-зеленое — дар дружественного попугая. И самое ценное — голубое перо сойки, его Ромас нашел в лесу еще в детстве и каким-то чудом сохранил.

Он немного перестарался. Теперь прохожие подолгу застывали у его окна, разглядывая расставленные сокровища; впрочем, Ромасу они не мешали. Иногда принимались стучать в дверь, приняв его жилище за новую сувенирную лавку, хозяева которой еще не успели заказать вывеску. Ромасу это даже нравилось: среди любопытствующих было много симпатичных девушек. Не то чтобы он собирался соблазнять их всех без разбору, но было приятно думать, что такая ситуация, в принципе, возможна.

Чего он совершенно не предвидел — что первая же соблазненная для него индейскими богами и утиными перьями девица окажется усатой блондинкой. Скуластой, как восточная принцесса, с крупными острыми ушами и глазами цвета темного янтаря.

Поначалу белая кошка приходила на его окно ненадолго. Сидела задрав голову, разглядывала перья на ловце снов. Деликатно царапала лапкой стекло, дескать, я тут. Убедившись, что Ромас ее заметил, прыгивала и неторопливо шествовала к пешеходному переходу. Дорогу эта кошка переходила исключительно по «зебре». Оказавшись на другой стороне улицы, она сворачивала за

угол и скрывалась из поля зрения Ромаса — до завтра. По утрам он ловил себя на том, что то и дело поглядывает в окно: пришла? Не пришла? И когда кошка не приходила, начинал раздумывать почему. Может быть, хозяйева на улицу не выпустили? Он был уверен, что кошка домашняя: очень чистенькая, совсем не пугливая, изящная, но явно не тощая.

Осенью белая кошка стала приходиться каждый день и сидела все дольше, иногда с утра до вечера. В любую погоду. Ромас радовался ее визитам, но негодовал, думая о гипотетических хозяйевах: как же они ее выпустили в такой дождь? Или сама убежала, не спросив разрешения? А может, нет никаких хозяйев? Что же она тогда ест?

Ответ на этот вопрос Ромас получил, нос к носу столкнувшись с усатой блондинкой возле мусорного контейнера. Белая темноглазая принцесса, не теряя достоинства, вылизывала банку из-под дешевых рыбных консервов. На Ромаса она покосилась с явным смущением, как будто он застукал ее за неприличным занятием. Бросила банку и демонстративно отошла в сторону, всем своим видом показывая: и вовсе я не голодная, просто любопытства ради попробовала.

— У меня дома есть курица, — сказал Ромас.

Кошка поглядела на него с некоторым интересом.

— Жареная, — зачем-то добавил он.

Кошка отвернулась, всем своим видом выражая разочарование.

— Ну как хочешь, — вздохнул Ромас. И пошел домой.

Белая кошка, казалось, не обратила на его уход никакого внимания. Но на крыльце каким-то образом оказалась раньше хозяина.

Не то чтобы Ромас собирался оставлять кошку у себя. «Покормлю и выпущу, — думал он. — Куда мне сейчас ее брать? В этой квартире повернуться негде. И кто будет ее кормить, когда я уеду?»

Но кошка все решила сама. Неторопливо, как бы просто из вежливости умяла здоровенный кусок куриного филе, снисходительно мурлыкнула, не обращая никакого внимания на открытую для нее дверь, вспрыгнула на подоконник, осторожно, ничего не уронив и даже не сдвинув с места, прошлась по нему из конца в конец, выбрала более-менее свободный от безделушек участок, уселась и уставилась в окно, за которым как раз завел сиротскую песню холодный ноябрьский дождь.

«Можно просто взять ее за шкурку и вынести на улицу, — думал Ромас. — Расселась, как дома, — ишь ты! Вот только кошки мне в этой конуре не хватало...»

Пока он раздумывал, дождь за окном незаметно превратился в мокрый снег. Ромас вздохнул, оделся и пошел в супермаркет за новой порцией курицы. И за наполнителем для кошачьего туалета.

«Она, скорее всего, просто потерялась, — думал он. — Хозяйева небось скоро спохватятся, начнут искать. Объявления повесят... И я, кстати, тоже повешу: там-то тогда-то подобрал домашнюю белую кошечку, охотно от-

дам хозяевам без всякого вознаграждения. Не выгонять же ее сейчас, в такую-то погоду».

Он вернулся через час с целым ворохом кошачьего барахла — начиная с громоздкого туалета-домика, который едва поместился в его маленькой ванной, и заканчивая противоблошиным ошейником. Кошка по-прежнему сидела на подоконнике, возле цветущего кактуса, в окружении индейских богов, чьи обычно суровые лица сейчас выглядели вполне умильно. «Спорим, пока меня не было, они говорили ей: „котя-котя-котя“. И, чего доброго, „кася-мася-бася“, — обреченно подумал Ромас. — Если я ее выгоню, боги меня не простят».

— Хотел бы я знать, как тебя зовут, — сказал он, острым ножом кроша для нее индейку.

Кошка, конечно, ничего не сказала, но оторвалась от окна и задумчиво посмотрела на Ромаса. Дескать, мне и самой интересно.

— Хорошо, — решил он. — Раз не отвечаешь, будешь зваться в честь меня — Ромина. По-моему, я вполне заслужил.

Белая кошка снисходительно мяукнула. Дескать, ладно, сойдет и Ромина, ты давай, режь мясо, не отвлекайся.

На самом деле она была очень довольна.

\* \* \*

Ромина сидит на подоконнике и смотрит на улицу. На улице стоят две девочки и разглядывают сидящую за стеклом белую кошку.



Ромина смотрит на девочку в розовой куртке и равнодушно отворачивается. Скучно. Плохая добыча. Переводит взгляд на девочку в светло-сером пальто. Замирает. Очень интересно. Очень хорошо.

«Какая красивая кошка, — думает Ева. — Изящная. Белая, а глаза темные. И острые скулы. Наверное, из-за них у нее такое выразительное, почти человеческое лицо. А какие большие уши! Интересно, что это за порода?»

\* \* \*

Ромас сидит на стуле и, вместо того чтобы работать, смотрит на Ромину. «Все-таки потрясающе спокойная у меня кошка, — думает он. — И вообще — потрясающая».

«Ужасно забавно, — думает он, — что в течение последнего года не только ко мне, но и еще к четверым моим знакомым пришли белые кошки. Никто из нас не собирался заводить кошку, а они сами пришли и остались. Надо же».

Знакомые Ромаса живут в разных городах. Миша, как и он, в Вильнюсе, Катя в Эдинбурге, Арвидас в Риме, Эдо в Берлине. Белые кошки вездесущи. Они — на этом месте Ромас улыбается — явно решили завоевать мир. И почему-то начали с нас. И правильно сделали.

Эдо, который из Берлина, когда узнал о масштабах бедствия, придумал, что белые кошки — ангелы-хранители, спустившиеся с небес. Просто мы пятеро, говорит он, такие разбалбесистые балбесы, что за нами нужен постоянный присмотр. Вот они и пришли к нам жить. Чтобы глаз не спускать.

«Ну, не знаю, как остальные, — думает Ромас, — а Ромина и правда самый настоящий ангел. Уже почти год у меня живет и до сих пор ничего не то что не разбила, на пол не уронила. В отличие, кстати, от меня. И по утрам не будит, даже если в миске пусто, терпеливо ждет. Радует, когда я возвращаюсь, но не ластится, пока не переоденусь в домашние штаны. Кошка бережет мою одежду от своей шерсти — уму непостижимо! И в кровать мурлыкать приходит, когда ложусь. И спит потом смирно, свернувшись в изголовье. И кстати, это же как раз после того, как она появилась, мне стали сниться сны. Вернее, я наконец-то начал их запоминать — так-то, по науке, считается, будто всем что-нибудь да снится. Хотя до последнего времени поверить в это было очень непросто. Сколько интересного я, получается, пропустил! Зато вчерашний сон про город с синими черепичными крышами и стеклянных птиц я теперь, пожалуй, никогда не забуду. И позавчерашний, про лабиринт из поющих лестниц, выбраться из которого можно, только полагаясь на любимые мелодии. И еще много всего... Записать, что ли, пока помню?»

Но, вместо того чтобы записывать, Ромас снова смотрит на Ромину. «Понятно, что кошка тут ни при чем, — рассудительно говорит он себе. — А все-таки приятно думать, как будто она — очень даже при чем. Нет ничего проще, чем в это поверить. Потому что — ну натурально же ангел».



Но, что бы он там ни думал, Ромина, конечно, вовсе не ангел.

Ромина — кошка.

\* \* \*

Ромина смотрит на Еву. Но вместо растрепанной темноволосяй девочки в сером пальто она сейчас видит Очень Интересное Место. Там много входов и выходов, а еще больше Тайных Лазеек, из тех, о которых хорошо знают кошки, а люди обычно не имеют понятия. Еще в этом Интересном Месте много Неожиданных Возможностей. И две Большие Опасности. И несколько мелких, но они, пожалуй, не в счет. Одна из Тайных Лазеек ведет в Спокойное Сияющее Место; Ромина оно не очень нравится — там слишком мокро. Но определенно понравится Ромасу. Ромина его вкусы уже знает. Интересно, куда ведут все остальные Тайные Лазейки? Очень интересно!

Будь на месте кошки интеллигентный, совестливый человек, он бы сейчас наверняка оправдывался перед собой: «Ничего плохого я не делаю. Я же не все отбираю. Подумаешь — одна-единственная ночь без сновидений. Девчонка все равно и четверти не запоминает. Тут и говорить не о чем».

Ромина, понятно, ни о чем таком не думает вовсе.

Ромина — охотник. Когда она видит добычу, она берет ее себе. И точка.

\* \* \*

— Ромина, — говорит Ромас, — ангел мой, царевна заморская, а ну дуй сюда, твое высочество. Лопать будем.

Белая кошка спрыгивает с подоконника и неторопливо идет к своей миске.

\* \* \*

— А у меня дома тоже есть кошка, — говорит Эрика. — Сиамская. Ну, ты же видела, да?

— Видела, — рассеянно соглашается Ева.

Она почти не слушает подругу. Думает про Ромину. Какая необыкновенная красавица! Надо будет завтра опять этой дорогой, по Руднинку, пойти. Может быть, белая кошка опять будет сидеть в окне. Ну, вдруг.

\* \* \*

Ромина лежит на подушке, греет теплым пузом бритую хозяйскую макушку. Ромина спит.

Ромас тоже спит. Ему снится, что в Вильнюсе есть метро. Ромас стоит на платформе и ждет поезда. Он откуда-то знает, что ездить по этой ветке опасно, но если закрыть глаза, обеими руками крепко держаться за сиденье и очень сильно хотеть *не исчезнуть*, все будет в полном порядке. Ромас решил рискнуть.

«Интересно, куда я приеду?» — думает он.

Очень интересно.

## Улица Стикляю

Stiklių g.



### Карлсон, который

Впервые Ирма увидела его на третий день собственного новоселья, на том этапе затянувшегося праздника, когда хозяева, во-первых, обнаруживают, что не знакомы с доброй половиной гостей, а во-вторых, начинают прикидывать, как бы этак поделикатнее выставить всех за дверь (на следующей стадии вопрос о деликатности снимается, тогда решающее значение приобретают волевые, а порой и физические ресурсы конфликтующих сторон).

В этой непростой ситуации Ирма могла рассчитывать только на себя. Муж бросил ее еще на рассвете, когда их чудом отвоеванная у лихой судьбы и прижимистой родни комната была похожа на поле боя, забывшиеся хмельным сном гости в изысканных позах возлежали на ковре и диване, храпели, стонали, скалились, хоть новый «Апофеоз войны» рисунок, выйдет пострашнее, чем у Верещагина, никаких черепов не надо. В такой духоподъемной обстановке вероломный супруг оставил Ирму — не на час, не на два, на целые сутки. И был совершенно прав. Праздник праздником, а работу терять не стоит.

Ирма, конечно, надеялась, что гости заметят отсутствие хозяина и благоразумно последуют его примеру. До сих пор она считала, что любит шумные компании, но эта любовь не прошла проверку временем и местом действия. «Больше никогда, — говорила себе Ирма, — никаких вечеринок у нас дома, ни за что. Ни-ког-да! Ну, по крайней мере, до Нового года — точно».

Пробудившись и без спросу прикончив остатки растворимого кофе, гости начали было прощаться, но нехотая решили похмелиться на дорожку, обшарили карманы и послали за пивом безотказного Стасика. А он, растяпа, вопреки Ирминым надеждам, не удрал с общественной кассой, а, напротив, вернулся. И не с пивом, а с полной авоськой самого дешевого сухаря.

В два пополудни Ирма еще не была морально готова гнать всех на улицу бранью и пинками, но уже оценивала такое развитие событий как вполне вероятное и даже желательное.

Морщась, она отхлебнула из щербатого стакана кислое сухое вино, вызывающее не опьянение, а изжогу, молча убрала со своего колена чужую влажную руку, встала и отправилась на коммунальную кухню — поставить чайник, а заодно выяснить, насколько успели осложниться отношения с новыми соседями. Судя по тому, что на холодильнике Стоговых появилась цепь, увенчанная новеньким амбарным замком, Ирме предстояла серьезная дипломатическая работа. Или, что более вероятно, затяжная холодная война.

«Нет, ну надо же, какие жлобы, — устало подумала Ирма. — Если мы молодые, веселые и бухаем третий день под Нину Хаген, значит, непременно выхлебаем ваш вчерашний суп. Ночью, под покровом тьмы».

Впрочем, она не могла поручиться, что все гости, включая полдюжины подозрительных незнакомцев, которых поди еще выясни, кто, когда и зачем привел, готовы столь же высокомерно пренебречь чужим супом. И от этого сердилась на соседей еще больше. Чувствовать себя виноватой Ирма не любила.

— Врубается, какие жлобы?

Ирма сперва удивилась — с чего это вдруг ее мысли стали озвучиваться мужским голосом, да еще и с раскатистым, грассирующим «р». Но потом, конечно, сообразила: мужской голос — черт бы с ним, но вряд ли мыслительный процесс протекает на таком большом расстоянии от головы. И обернулась.

Обладатель голоса был невелик ростом, зато отменно упитан. Округлое, как у плюшевого медвежонка, тело, упакованное в линялый растянутый свитер и новенькие фирменные джинсы, висевшие на нем мешком, венчала неожиданно красивая голова — мастерская лепка, благородный профиль, длинные миндалевидные глаза, нежный, почти девичий рот, искривленный сейчас в брезгливой усмешке. Копна черных спутанных волос явно принадлежала кому-то третьему — не плюшевому толстяку, не изнеженному патрицию, а разудалому бродяге цыганских кровей.

«Тоже мне, красавчик», — подумала Ирма и надменно вздернула бровь.

«Какой нелепый, — подумала Ирма. — Что он делает на моей кухне, какого черта?»

«Натуральный Карлсон, мало ли, что не рыжий», — подумала Ирма и невольно улыбнулась.

Все это не последовательно, а одновременно, по отдельности ее умозаключения ничего не стоили, зато их сумма была чем-то вроде правды о незнакомце.

— Ты откуда взялся? — спросила она.

— Из пизды, — с неуместной, ничем не оправданной грубостью рявкнул он. Тут же скорчил умильную рожицу и тоненьким детским голоском пояснил: — Из ма-а-а мочкиной. — И, ослепительно улыбнувшись, заключил: — Живу я тут.

«Карлсону положено жить на крыше, — возмущенно подумала Ирма. — А в соседней комнате, в коммуналке с общей кухней — перебор, я так не играю».

— Поверила, — обрадовался толстяк. — Расслабься, я не сосед. Стэндапа знаешь? Я с ним пришел. Сам не врубаюсь зачем.

— Я тоже не врубаюсь, — сухо сказала Ирма.

Она попыталась вспомнить, был ли среди бывших одноклассников, старых приятелей, дальних родственников, однокурсников, друзей, которые заполнили их дом вчера ближе к ночи, кто-нибудь по прозвищу Стэндап, но толстяк не дал ей сосредоточиться.

— И вообще, я с Мишкой в одном классе учился.

— С каким именно Мишкой? Их тут с утра трое было.

— С твоим мужем.

— Он не Мишка, он Митя, — Ирма понемногу начала сердиться.

— Ну, значит, следующий будет Мишка, — отмахнулся гость. — Или через одного... Слушай, я уже запутался в твоих мужьях. Сама потом разберешься. Ты еще не врубилась? Я — Келли.

И торжествующе умолк. Видимо, предполагалось, что любой культурный человек в курсе, кто такой Келли, и сочтет за честь принимать его у себя дома. Но Ирма не принадлежала к числу адептов этого тайного знания, поэтому только плечами пожала. Дескать, ладно, считай, познакомились. И что дальше? Толстяк высокомерно молчал, выжидая, когда она наконец сообразит, кто он такой, и благоговейно припадет к его стопам.

«Интересно, — подумала Ирма, — Келли — это имя или фамилия?» И тут же устыдилась собственной наивности. Ясно же, просто погрехуха. На самом деле этого Карлсона зовут, например, Коля. Ну или фамилия у него какая-нибудь созвучная. Сразу могла бы догадаться, ее тоже не родители Ирмой назвали, а одноклассники, переделав фамилию Ермакова. Хорошее вышло имя, гораздо лучше, чем Катя.

Толстяк устал ждать, когда она ему обрадуется, и перешел к делу.

— Соседи сейчас на работе? — спросил он. — Кухня наша? Я тут растворчик хочу замутить, ты же не против, да? С меня доза.

Это называется — приехали.

Наркотиков Ирма боялась как огня. То есть не столько самих наркотиков, сколько всего, что им сопутствует. Шприцы, нечистые комки ваты, стеклянные глаза, менты, ломки — все это могло мгновенно сделать ее вполне невинную игру в плохую... — ну, скажем так, не самую хорошую девочку — страшной, вымороченной, абсурдной реальностью. Так далеко Ирма заходить не собиралась.

— Я против, — твердо сказала она. А потом, к собственному удивлению, ухватила толстого красавчика за шиворот и повела к выходу.

По длинному коммунальному коридору шествовали молча. Келли не сопротивлялся, и слава богу: в последний раз Ирма дралась с мальчишками в третьем классе и никаких иллюзий насчет собственных боевых качеств с тех пор не питала.

Только когда Ирма распахнула дверь, ведущую в гулкий, холодный, отделанный грязно-белым мрамором подъезд, толстяк лучезарно улыбнулся и сказал:

— I think this is the beginning of a beautiful friendship.

От неожиданности Ирма расхохоталась и выпустила из рук растянутый ворот его свитера.

Не то чтобы она считала всех, смотревших «Касабланку», братьями по духу. И способность складно говорить по-английски никогда не казалась ей характерным признаком богочеловека, которому все прощительно. Но так добродушно и остроумно шутить в наихудший для

себя момент позорного изгнания из чужого дома — это действительно надо уметь.

«Какой, однако, непростой кадр, — подумала она. — Как есть Карлсон».

«Непростой кадр» вежливо подождал, пока она досмеется. А потом сказал:

— Информацию принял к сведению. Раствор варить не будем. А выпить у тебя есть?

Ирма так и не выяснила, кто привел Келли в их дом. Однако заметила, что его появлению в комнате никто особо не обрадовался. Да что там, большинство гостей настороженно косились на толстяка, явно ожидая подвоха, но он был тише воды, ниже травы и ни на шаг не отходил от Ирмы, которая сперва отдала ему свою порцию вина, а потом выделила персональную, почти непечатую бутылку, такого добра не жалко. А сама ушла за шкаф, на условно неприкосновенную территорию условной же спальни, где стояли холсты, так и недокрашенные из-за новоселья. Целых три. Дошло наконец, почему ее все так бесит. Просто пора поработать. Еще вчера было пора.

— Ой, — печально сказал из-за ее спины толстяк. — Это твои картинки?

Ирма кивнула.

— Плохо, — вздохнул он.

— Почему плохо? — рассеянно удивилась Ирма.

До сих пор ее рисунки нравились всем, кроме разве что родителей.

— Я знаю, как устроены художники. Тебе никто не нужен. Все только мешают. И я тоже буду мешать.

— Будешь, — согласилась она. — Но это ничего. Я привыкла.

И почти машинально потянулась за палитрой. Вообще-то, они с Митей договорились в спальне не рисовать, но бывают в жизни обстоятельства, отменяющие все предыдущие договоренности. Форс-мажор называется. Смешное слово.

Келли еще что-то говорил, но Ирма уже не слушала, смотрела на холст. Здесь нужно красное, думала она, не вот это серо-буро-малиновое, а чистый светлый кадмий. Какая же я была дура, как не видела?

От работы ее не отвлек даже шум разгорающейся за шкафом ссоры. Только подумала с веселой свирепостью абсолютно счастливого человека: не угомонятся, выйду, всех угондошу. И снова отключилась.

Она не замечала хода времени, но чутко реагировала на освещение, поэтому, когда за окном начало темнеть, громко, с наслаждением выругалась, вышла из-за шкафа, чтобы включить свет, и обнаружила, что праздник все-таки закончился. Гости ушли, оставив на память о себе почти космический хаос, из которого можно было сотворить все что угодно, кроме домашнего уюта. И черт с ним, потом.

— Врубаешься, я всех разогнал, — приветливо сказал Келли.

Он сидел в кресле, которое зачем-то переставил в самый темный угол, и был, похоже, чрезвычайно доволен

собой. В деснице герой сжимал бутылку с остатками кислого сухаря, на подлокотнике кресла были аккуратно, по росту разложены выуженные из пепельниц окурки, целых восемь штук.

— У меня есть «Шипка», — сказала Ирма, протягивая ему почти полную пачку. — А как ты их разогнал? Научи.

— Сам не врубаюсь, — отвечивал толстяк, придиричливо выбирая сигарету. — Но у тебя так точно не получится, для этого надо быть мной... Какая же дрянь эта твоя «Шипка», — вздохнул он, выпуская дым. — Ее курят только потные плебеи у пивных ларьков, да и то если на «Пегас» не наскребли.

И пока Ирма молчала, ошарив от столь черной неблагодарности, добавил:

— Тебе надо курить «Море». Длинные, тонкие, черные. Сразу будешь выглядеть как изысканная богемная бикса. А не как тупая телка из педина, только что вернувшаяся с поездки на картошку. Если бы ты была гением, на стиль можно было бы забить. А так — нельзя.

«Я уже примерно понимаю, почему все ушли, — подумала Ирма. — Сама бы ушла, да некуда».

— Скучная ты какая-то, — укоризненно сказал Келли. — Обижаешься, молчишь. Художник должен быть прикольный, особенно если он телка. Ну, я пошел.

— Куда-нибудь, где есть кухня? — язвительно спросила Ирма.

— Врубаешься, — неожиданно обрадовался он. — Все-таки ты врубаешься!

А на пороге улыбнулся так ослепительно, что Ирма еще долго глядела на захлопнувшуюся за гостем дверь, обитую светло-коричневой клеенкой. И только несколько минут спустя поняла, что нахальный толстяк унес ее сигареты. «Ну хоть бычки оставил, — вздохнула она. — В гастромом, значит, можно не бежать».

\* \* \*

— Кто такой Келли? — спросила она утром мужа.

Митя неопределенно скривился:

— А что, он тут был?

— Был. Сказал, его Стэндап привел. Кстати, а кто такой Стэндап?

— Один прикольный штымп, — отмахнулся Митя, — мы учились вместе. Собственно, Келли тоже с нами учился.

— В этой вашей знаменитой сто тридцать восьмой? — усмехнулась Ирма.

— Совершенно верно. Только Келли закончил школу на пару лет раньше. Притом, что младше меня на год.

— Вундеркинд?

— Считалось, что гений. И на воротах он, кстати, классно стоял.

— На каких воротах?

— Мы в хоккее играли. Шикарный был вратарь. Маленький, толстый, вроде бы мешок мешком. А я не припомню, чтобы он хоть одну шайбу пропустил. Фантастическая реакция!

Помолчали.

— Он потом в Водном учился. И какой-то такой гениальный диплом написал, что ему сразу место администратора на круизном судне дали. То ли в награду, то ли в обмен, чтобы взрослый дядя свою подпись там поставил. Темная какая-то история, Келли сколько рассказывал, всегда по-разному выходило. Думаю, он сам толком не понял, что произошло. Но факт, что один рейс он точно сделал. В Италию. А потом, конечно, вылетел.

— Почему «конечно»?

— Ну, ты же с ним разговаривала.

— А, то есть он всегда был такой хам? — обрадовалась Ирма.

— Не то слово. А теперь прикинь, как ему крышу снесло. Девятнадцать лет, круиз, Италия, валюта. Кому угодно снесло бы.

— И что дальше?

— А дальше был бесконечный праздник. Собственно, до сих пор продолжается. Поначалу Келли все охотно поили и в рот смотрели — что еще умного скажет. Про Италию или про структурный анализ. Потом всем надоело. А с тех пор, как торчать начал, стал совсем скучный. Пародия на самого себя.

— А на что он живет?

— Понятия не имею. Но подозреваю, на мамину зарплату и бабкину пенсию. Одно время он у Фридкиса в преферанс играл, говорят, успешно. Все-таки гений.

Так что пару лет бабки у него водились немаленькие. Но потом и там всех достал.

«Как же я их понимаю», — подумала Ирма.

\* \* \*

Он явился почти месяц спустя, в роскошном финском анораке и старомодных лаковых ботинках, один из которых явственно просил каши. Поглядел исподлобья; не переступая порог, протянул красную прямоугольную пачку. Сигареты «More», ну ничего себе. Швейцары центральных ресторанов продают их из-под полы по пять рублей за пачку, целое состояние, подумать страшно.

— В тот раз я утащил твое курево, — буркнул Келли. — Извини. Я иногда хуйню творю.

Ирма крутила в руках подарок, думала: «Вот сейчас надо бы высокомерно вздернуть подбородок, сухо поблагодарить и захлопнуть дверь, сам Келли на моем месте так бы и сделал, на что угодно спорю».

Но вечер выдался совершенно гнусный, за окном которые сутки лил дождь, нормального освещения не было даже днем, а теперь осталась одна шестидесятиваттная лампочка на тридцать квадратных метров, то есть сто двадцать кубических, с учетом высоты потолков, поди нарисуй что-то путное при таком освещении, да еще и вероломный супруг Митя где-то шляется. Собственно, хрен бы с ним, но вкрутить вторую лампочку в одиночку немислимо, вот же черт.

— Раствор варить не будем, — на всякий случай сказала она, пропуская его в комнату. — И выпить у меня нет. Есть чай. Заварить?

— Завари, если хочешь, — равнодушно согласился Келли.

Он разулся, явив восхищенному миру мокрые носки, один синий, один серый. Но анорак снимать не стал. Оставляя по-женски маленькие влажные следы, прошлепал к стене, у которой вперемешку стояли Ирмины холсты, законченные и только начатые, спросил:

— Можно? — И, не дожидаясь ответа, принялся их ворочать.

— Смотри, что с тобой делать, — запоздало согласилась она.

Картины Келли смотрел не как нормальные люди, а по-своему, с подвывертом. Некоторые, почти не глядя, ставил обратно, разворачивая лицом к стене, на другие, напротив, пялился по нескольку минут кряду, то отходил подальше, то натурально утыкался носом, только что лупу из кармана не доставал. А одну незаконченную работу зачем-то поднял вверх и долго изучал на просвет, как будто надеялся обнаружить под слоями свежей краски тайное послание.

— Отдавай мое «More», — внезапно потребовал он.

Ирма так растерялась, что протянула ему распечатанную пачку. Хорошо хоть одну уже выкурила. Уж ее-то захочет, а не отберет.



Келли не стал забирать сигареты, даже руки из карманов анорака не вынул. Стоял перед ней насупившийся, в мокрых разноцветных носках, глядел со сдержанной яростью, как на кровного врага. Наконец буркнул, раздраженно поджав губы:

— Можешь продолжать курить свою «Шипку». Да хоть «Беломор», однохуйственно. Забей на стиль. Тебе это не надо. Откуда ты такая взялась на мою голову?

Ирма вспомнила, в прошлый раз он говорил: «Если бы ты была гением, на стиль можно было бы забыть». «Ого, выходит, я у нас теперь гений, — подумала она. — Это он, конечно, молодец, что понял. Но как некстати! Может, у меня таких сигарет никогда в жизни больше не будет. На какие шиши? А вот хрен тебе, не отдам».

Она решительно спрятала пачку в карман.

— Мог бы просто сказать: охуенные у тебя картинки. И выпрыгнуть в окно от полноты чувств. А то сразу подарки отбирать. Ишь!

— Есть предложение, — все так же сердито ответил Келли. — Ты оставляешь себе сигареты. А я не прыгаю в окно. Ты же на четвертом этаже живешь, дура психованная.

— Живу, — согласилась Ирма. — Предложение принимается. Сегодня можешь куда не прыгать. А потом поглядим на твое поведение.

— Больше всего мне нравится слово «потом», — заметил Келли. — Оно означает, что меня сюда еще когда-нибудь пустят.

— Все может быть, — миролюбиво согласилась Ирма. И пошла ставить чайник.

Когда она вернулась в комнату, Келли сидел на корточках перед одним из ее холстов, закрыв лицо руками.

— У тебя бывает так, что весь мир вокруг — болит? — не отнимая рук от лица, спросил он.

Ирма не стала ни язвить, ни ломать комедию. Коротко ответила: «Бывает». И подумала, что с этим типом вполне можно найти общий язык. Вот ни с кем на всем белом свете нельзя, а с ним, получается, можно. Грамотно формулирует. И по делу.

\* \* \*

Митя, которому Ирма в ту пору рассказывала абсолютно все (муж, полагала она, — это аналог лучшей школьной подружки, исправленный и дополненный в соответствии с почти неизбежными для взрослого человека потребностями в физической любви и помощи по хозяйству), — так вот, Митя был уверен, что дружба его жены с дурацким толстяком началась с того, что Келли признал ее гением. Ирма не спорила, она охотно подыгрывала мужу, когда он принимался вышучивать ее гордыню, но отдавала себе отчет — все дело в вовремя заданном вопросе. У нее всегда, с детства, сколько себя помнила, *болел весь мир* — вымороченный, враж-

дебный, нескладно и нелепо устроенный, не поддающийся исправлению, но при этом сияющий, звучащий, вибрирующий, ветренный, огненный и ледяной, великолепный настолько, что, дай она себе волю, рыдала бы взахлеб от восхищения с утра до ночи и, пожалуй, даже во сне. Но воли себе она, конечно, не давала, держала в ежовых рукавицах, дышала неглубоко, думать старалась поменьше и только о насущных проблемах, всегда стояла — там, внутри себя, — вытянувшись по стойке «смирно», чтобы не спятить, не рухнуть в сладкую темноту, не взорваться от переполняющей ее восхитительной муки. Спускала себя с цепи исключительно по делу — порисовать. Живопись стала ее призванием, потому что оказалась самым простым и безопасным из доступных обезболивающих средств, и только поэтому, поди такое кому-то объясни. А толстому склочному Карлсону–Келли и объяснять ничего не требовалось, он сам все понимал. Настолько глубоко и точно, что страшно делалось. Наверное, думала Ирма, он — мой вымышленный друг. Как волшебный мальчик Морис, которого сочинила себе в четыре года и неохотно признала *не совсем существующим* только в седьмом, что ли, классе. «Просто теперь я настолько крута, что моего вымышленного друга видят все остальные», — думала она. И не сказала бы, что им это нравится, — тут следовало бы разразиться зловещим хохотом Злого Магрибского Колдуна, но Ирма ограничилась привычной язвительной

ухмылкой, адресованной, теоретически, Богу, в которого она никак не могла толком поверить, а на практике — всякому, кто пожелает принять ее на свой счет.

\* \* \*

Обычно Келли приходил, когда она была дома одна и работала. То ли интуитивно чуял благоприятный момент, то ли, кто его знает, отслеживал сложную и запутанную траекторию перемещений непоседливого Мити. Мрачно объявлял с порога: «Пришел тебе мешать». Вываливал на стол гостинцы — порой это была спелая хурма с рынка, иногда — одинокая барбариска в замызганной, истертой до прозрачности обертке, но чаще всего — маленькие пирожные «корзиночки» из кулинарии соседнего ресторана, которые сам любил до дрожи, за четверть часа мог смести дюжину, и было заметно, что это он еще старается держать себя в руках. Равнодушная к сладкому Ирма ему не препятствовала, довольствовалась одним — в тех редких случаях, когда успевала его ухватить. Разложив подношения, Келли шел на кухню, сам заваривал чай, возвращался с кружками, деликатно испросив разрешения, совал в Митин магнитофон свою кассету с флойдовским «Wish You were here», забивался в дальний угол и надолго умолкал. Впрочем, порой, под настроение, начинал травить какие-то завиральные байки, чаще всего о *загулах с фронсовскими телками* в лучших кабаках города или о том,

как якобы приезжавший весной в университет с *подпольными лекциями* Лотман после короткой беседы во время перекура клятвенно обещал зачислить юного гения к себе на кафедру без вступительных экзаменов. Третий излюбленным сюжетом был короткий, но бурный роман, который случился у него (Келли, не Лотмана) в Италии с самой Матиа Базар. Бедняга не знал, что на самом деле вокалистку одноименной модной группы зовут Антонелла Ружжеро, а Ирма благоразумно придерживала информацию при себе, не желая разбивать ему сердце. «Конечно, девочка была такая укуренная, что вряд ли меня вспомнит, — вздыхал Келли и тут же многозначительно добавлял: — Но все равно никогда не забудет — врубаешься?»

Ирма слушала его вполуха, даже не трудилась кивать в нужных местах — Келли, слава богу, никогда не обращал внимания на такие мелочи, как реакция собеседника. Говорил вдохновенно и азартно, с явным наслаждением слушал себя, распалялся, воспарял суматошным духом, а потом — всегда внезапно — сникал и делался похож на обиженного ребенка. На этом этапе он принимался сетовать: «Мы с тобой — единственные живые люди в этом городе. И никому здесь, на хуй, не нужны. Ну, ты, может, кому-то нужна, но как телка, не как художник. Гении — самые ненужные люди на свете. Охуеть, да? Ты как хочешь, а я все брошу и уеду в Тарту. Доживу до лета и уеду».

«А действительно, ехал бы в Тарту, — думала Ирма. — Чего тут сидеть? Своей хаты все равно нет, после

общей спальни с бабкой и ночевок по знакомым общага раем покажется. Лотман тебе, ясен пень, ни хрена не обещал, но уж экзамены-то как-нибудь сдашь. Для этого даже гением быть не обязательно, полголовы на плечах — вполне достаточно». Но она никогда не говорила это вслух. Прекрасно понимала, что Келли *хочет хотеть* в Тарту. А не уехать. Это принципиально разные вещи.

Сама она в ту пору *хотела не хотеть* никуда уезжать. Наивно полагала, будто от перемены мест слагаемых сумма не меняется, холст — везде холст, свет — везде свет, так что бессмысленно суетиться, только крышу над головой потеряешь, сердце и судьбу в клочья изорвешь. И очень старалась не мечтать ни о каких переменах. Келли, который видел ее насквозь, это не нравилось.

«Ты обязательно должна отсюда свалить, — твердил он. — Здесь, кроме тебя, ни одного живого художника, одни крестьяне от искусства. Потусуешься с ними еще пару лет, и сама в такое говно превратишься. Бездарность заразна, хуже трипака, ты не знала?» «И куда мне ехать? С тобой в Тарту?» — язвительно осведомлялась Ирма. Но Келли не давал сбить себя с толку. «Тебе-то нахуя в Тарту? — строго вопрошал он. — Тебе надо... ну, например, в Вильнюс. Там полгорода художники, а другие полгорода — музыканты. И все зажигают — караул! У них даже джаз-клубы есть, причем официально, не подпольные, ходи хоть каждый день, не стрёмно. Литовцы

такие крутые, что им даже в совке все можно. Прикинь, раз в год, не то зимой, не то весной, у них охуенная ярмарка, весь город на улицу выходит с картинками, хипы с самодельными феньками туда со всего Союза съезжаются, и музыканты с ними тусуют, траву курят на всех углах, от ментов не прячутся — почти Вудсток. А ты, как дура, тут сидишь».

«Была я на этой ярмарке, — отмахивалась Ирма. — В семнадцать лет стопом с друзьями потусоваться ездила. „Казюкас“ она называется, смешное слово. Но туда только прикладуху имеет смысл возить. Хиповские феньки в самый раз, а мне там ловить нечего».

На этом месте Келли обычно окончательно угасал, бурчал сердито: «Скучная ты все-таки, хуже моей бабки» — и шел одеваться.

\* \* \*

Светскими беседами за чаем их дружба, впрочем, не исчерпывалась. Келли запросто мог заявиться, к примеру, в три часа ночи. Ирма никогда не спала в такое время, и он это знал, поэтому звонил до упора, натуральный шантаж — не хочешь сойти с ума от бесконечного «блям-блям», значит, открывай.

За дверь Ирма могло ждать что угодно — от жалкой кучки утомленной возлияниями органики, которую приходилось, не раздевая, укладывать спать на гостевой топчан, до взбудораженного очередным химиче-

ским соединением почти-незнакомца, который деловито осведомлялся: «У тебя стольник до завтра есть?» — и, выслушав традиционно отрицательный ответ, убежал в ночь, восторженно, как третьеклассник, матерясь на весь подъезд. Но порой он был совершенно трезв, деловит и загадочен, говорил: «Пошли, пошляемся», и в таких случаях Ирма всегда отправлялась за пальто, потому что твердо знала: это будет незабываемая ночь. Очередная лучшая ночь в ее жизни, упускать такую нет дураков, сколько бы ни бормотал сонный Митя: «Ты куда опять намылилась, ненормальная?» Отвечала: «Надо проветриться, не волнуйся, у меня хорошая компания» — и убегала, даже не подозревая, что Митя вообще не волнуется, а злится. В голову не приходило, что муж может ревновать ее к смешному, нелепому Келли, который был чудо как хорош в качестве ее персонального Карлсона, но, как и положено настоящему Карлсону, больше не годился решительно ни на что.

Зато Карлсоном Келли оказался образцовым — в чем в чем, а в городских крышах он знал толк. Чаще всего ночные прогулки приводили их на очередную крышу, куда надо было подниматься по черной лестнице, лавируя между лысыми дворничьими метлами и поломанными детскими колясками, раздвигать гнилые доски, которыми когда-то, скорее всего задолго до Ирмино-го рождения, заколотили проход. В компании Келли Ирма, прежде уверенная, что боится высоты больше всего на свете, храбро штурмовала крутые скаты, мок-

рая черепица задорно хрустела под ногами, далеко внизу светился белыми, голубыми, желтыми и лиловыми огнями ночной город, а свежий ветер бережно обнимал ее за талию, снисходительно, как любимую младшую сестренку, гладил по голове. И когда они, усевшись поудобнее, доставали сигареты, табачный дым пьянил Ирму почище забористой афганской травы, все мировые запасы которой она, не торгуясь, отдала бы за возможность остаться в этом мгновении — ночью, на крыше, с ветром, молчаливым другом и сигаретой, без привычной рваной раны в той области, где у нормальных людей находится бессмертная душа, — навсегда.

Крышами, впрочем, прогулки не ограничивались. По ночам им принадлежали все сокровища города — скрипучие качели проходных дворов, звонкие, отполированные осенними дождями булыжники бульваров, блестящие перекрестья трамвайных рельсов на площадях, полыхающие холодными отражениями огня лужи и зыбкие, расслаивающиеся тени в стеклах скудно обставленных витрин. Иногда Келли уводил Ирму к морю; один из сторожей яхт-клуба оказался его бывшим не то одноклассником, не то сокурсником, и, когда была его смена, прогулка по пустынному пляжу скрашивалась чашкой горячего чая, а то и стаканом вина, дешевого, горького и одновременно приторно-сладкого, совершенно бесподобного здесь, на морском берегу, в половине пятого, к примеру, утра, под бутерброды из кильки в томате на черством бисквитном печенье. А когда

у Келли водились деньги, он ловил такси и просил водителя ездить по городу — на весь, скажем, червонец; среди таксистов то и дело попадались ловкачи, которые высаживали их где-нибудь на окраине, в надежде на дополнительную плату за поездку назад, в центр, но Ирма и Келли убегали в темноту, оглашая окрестности торжествующим хохотом. И какое же это было наслаждение — искать на рассвете дорогу домой, путаясь в незнакомых улицах, пугая редких прохожих вопросами: «Скажите, пожалуйста, а что это за город и какой сейчас год?»; глядеть, как бледнеют фонари; танцевать под звуки чужого радиоприемника, орущего где-то высоко-высоко, не то на пятом этаже, не то и вовсе в небе; бурно радоваться найденным на тротуаре медякам; покупать на них горячий хлеб у водителей грузовиков, которые в это время как раз начинают развозить его по булочным; жадно раздирать батон на части, выхватывать из рук, убегать, залезать на дерево и дразниться, размахивая добычей, а потом заботливо совать друг другу последние куски: «Возьми, я больше сожрал», «Тебе же горбушки совсем не досталось, держи». После этих прогулок Ирма всегда спала как убитая до самого вечера, и сны ей снились такие, что, просыпаясь, она с мрачным изумлением озирала привычную реальность, презрительно бормотала: «Жалкое подобие левой руки»; впрочем, наяву можно было рисовать, и это помогало продержаться до следующей ночной вылазки.

\* \* \*

Однажды Келли зашел за ней еще до полуночи. Митя в ту ночь дежурил, поэтому у Ирмы работа была в разгаре, так что традиционное «Пошли пошляемся» не вызвало у нее обычного энтузиазма, но Келли спросил: «Ты в окно давно смотрела?» Она посмотрела и обмерла. За окном не было ничего, кроме густой, как базарная сметана, бледно-сизой мглы, слегка подкрашенной желтым фонарным светом. На город опустился туман, плотный и непроницаемый, как в мультфильме про ежика; до сих пор Ирма думала, на самом деле такого не бывает. Ее больше не надо было уговаривать, накинула пальто прямо на измазанный краской рабочий свитер и устремилась к выходу.

Город в тумане стал почти невидимым. Разноцветные кляксы света, смутные очертания древесных стволов да фонарных столбов — и всё. Поэтому Ирма довольно быстро перестала понимать, где они идут. На ближайших к дому улицах еще кое-как ориентировалась, потом какое-то время вычисляла маршрут по памяти, отсчитывая перекрестки, но после десятого, что ли, поворота окончательно сдалась. В конце концов, затем и гуляют в тумане, чтобы перестать узнавать свой город, не понимать, что за переулочек они только что миновали и в какой двор зашли. Ей было весело и одновременно жутко, совершенно как в детстве. «Во взрослом организме эти два чувства, увы, не совмещаются, и как же много мы

теряем, разучившись смеяться от страха, — думала Ирма, — возможно, вообще всё».

— Смотри, — сказал Келли. — Ты только посмотри.

Они стояли на мосту. Теоретически, Ирма понимала, куда они пришли, в центре имелся всего один большой мост, перекинутый не через реку, которой в городе не было, а над прибрежным трущобным районом, где ветхие двухэтажные домишки опасно опирались друг на друга, чтобы не рухнуть, а во дворах с утра до ночи уныло копошились сизые от грязи, заранее измученные неизбежными грядущими похмельями младенцы и толстые кривоногие собаки, словно бы специально выведенные каким-то особо злобным селекционером для умножения мировой скорби. Но теоретически Ирма могла понимать все что угодно, а на практике по-прежнему совершенно не узнавала ни мост, ни окутанные туманом окрестности. Могла поклясться, что никогда в жизни здесь не была. И от этого ей хотелось кричать.

— Вниз посмотри, — настойчиво повторил Келли.

Ирма опустила взгляд и тут же отшатнулась. Ей показалось — разумеется, просто показалось, — что внизу, вопреки всем законам природы, нет никакого тумана, но и двухэтажных барачков, чахлая деревьев и захлапанных тротуаров там не было тоже. Под мостом текла река, неширокая и очень быстрая, по реке плыла ярко-красная байдарка, гребец в оранжевом жилете приветливо помахал ей рукой. Все это было как-то чересчур, настолько чересчур, что Ирма побежала назад, туда,

откуда они пришли, и остановилась, только когда почувствовала под ногами неровную булыжную мостовую. Значит, мост уже закончился. Вот и хорошо. Сегодня больше никаких мостов.

— Я думал, ты храбрее, — сказал внезапно возникший из тумана Келли. В его голосе не было ни осуждения, ни упрека, он просто констатировал факт. Таким тоном говорят: «Я думал, у тебя зеленая шапка. А она, оказывается, синяя».

— Отведи меня домой, пожалуйста, — сказала Ирма. — Потому что я пока не понимаю, в какой это стороне. — И, подумав, добавила: — Водки бы сейчас выпить. У тебя деньги есть?

— Ни копя, — откликнулся Келли.

— Значит, будем пить чай. Без сахара, потому что он закончился.

— Сама пей свой чай, — огрызнулся Келли. Но в дом с ней все-таки зашел и даже чайник поставил, пока Ирма шарила по полкам в смутной надежде отыскать заначку, которых у них с Митей отродясь не водилось. Не нашла, конечно. С чего бы.

— Ты все проебала, — мрачно сказал Келли, когда они уселись за пустой стол, грея руки о кружки с несладким чаем. — И я все проебал. На хуя было за тобой бежать? Сама бы домой добралась, не маленькая.

— Что именно я проебала? — спросила Ирма. Сердце ее при этом стучало так, словно Келли был врачом,

внимательно изучившим результаты ее анализов и теперь готовым озвучить диагноз.

— Неважно, — отмахнулся он. — Все равно уже проебала. Не о чем говорить. Кстати, я не знал, что ты так боишься смерти.

— Смерти? — переспросила Ирма. — Мы что, могли умереть — там, на мосту?

— Конечно нет. Просто все страхи — это страх смерти. Больше бояться нечего. Но человеку так страшно бояться смерти, что он старается найти посредника. Говорит себе: «Я просто боюсь высоты». Или воды. Или больших собак. Или ментов. Или маму с папой. Неважно чего, лишь бы не думать лишний раз о смерти. А зря. Нет там ничего страшного.

— Откуда ты знаешь?

Спросила и тут же прикусила язык. Это же Келли. Он вечно болтает ерунду. Не надо придавать значения его словам. И уж тем более задавать уточняющие вопросы.

Но он и не стал отвечать. Вместо этого сказал:

— Если я умру раньше, обязательно приду к тебе сказать, что там все хорошо. Может, хоть тогда перестанешь хуйней маяться.

— Только цепями не шибко греми, когда с того света заявишься, — съязвила Ирма. — И, если можно, не вой, как привидение из мультфильма. Я у нас нервная.

Ей очень не нравился этот разговор, вот и отшучивалась, как могла, неловко, нескладно, словно ее место

временно заняла какая-то бессмысленная дура, *тупая телка из педина*, как сказал бы Келли, если бы был сейчас расположен ругаться. Но он только вздохнул, отхлебнул несладкого чаю, брезгливо поморщился, поставил кружку на стол, буркнул: «Ну, я пойду» — и исчез раньше, чем Ирма сумела придумать способ его удержать.

\* \* \*

На этом месте всякому уважающему себя герою полагось бы загадочно и романтично исчезнуть навек, не оставив следов, но Келли был не героем, а Карлсоном, а потому являлся еще не раз — всегда глубокой ночью, все больше в бессознательном состоянии, в грязной одежде, что-то невнятно мычащий, жалкий. Неоднократно спал на их гостевом топчане, утром молча пил чай и уходил, поблагодарив хозяев таким тоном, что лучше бы обругал. Неоднократно же просил денег, то штуку баксов, то три рубля — всегда безрезультатно, Ирма с Митей не то чтобы жадничали, просто жили на одну нищенскую зарплату и примерно двадцать дней в месяц довольствовались чаем с бубликами и пустыми мечтами о хитроумном ограблении ближайшей сберкассы.

К весне Келли стал появляться все реже, а летом пропал окончательно. Ирма несколько раз видела его в городе, исхудавшего, с опухшим лицом, в компании примерно таких же типов, и поспешно переходила на дру-

гую сторону в надежде, что он ее не узнает, — с *этим* Келли ей явно было не о чем говорить. Узнал он ее только однажды, оживился, замахал руками, позвал. Ирма решила — черт с ним, ладно, подойду, но услышала, как он говорит своему седому спутнику с ужасным и жалким лицом опустившегося Фредди Крюгера: «Это моя телка, у нее тут рядом хата, можно нехило зависнуть», — и, отвернувшись, ускорила шаг. О чем не жалела никогда, ни секунды — даже в октябре, когда по городу поползли слухи, что Келли умер от передоза, даже когда слухи подтвердились и Мите принялись названивать бывшие ученики сто тридцать восьмой школы, звали на похороны; он, конечно, пошел, а Ирма, конечно, отказалась. С поминок муж вернулся под утро, пьяный до изумления, жалкий, слюнявый, лопочущий, рухнул на гостевой топчан, не сняв даже ботинки; Ирма тогда почти всерьез испугалась, что в Митю каким-то образом вселился беспокойный Келлин дух, но обошлось.

В новогоднюю ночь, устав от заявившихся еще за светом гостей и полной невозможности уединиться и поработать, Ирма выскользнула из дома, прошла наобум несколько кварталов, думала сперва забраться на какую-нибудь из Келлиных крыш, но не вспомнила ни одной. Оно и к лучшему, в одиночку, пожалуй, навернулась бы вниз, не от неловкости, так от страха. Села на мокрую от недоброго зимнего дождя скамейку, сказала вслух:

— Так и не пришел, гремя цепями. А обещал же! Вот гад!



И только после этого смогла заплакать. Проревела безутешно чуть ли не час рыдаю, а потом, внезапно успокоившись, почти развеселившись, пошла обратно. Домой, к Мите и гостям.

\* \* \*

После этой новогодней ночи Ирма твердо сказала себе: «Никакого Келли не было. Никогда. А если кто-то и был, то твой очередной вымышленный друг. И пора признать, что он *не совсем настоящий*. Если получилось в седьмом классе, получится и сейчас, ты уже большая, детка, такая большая, что самой страшно. Вот и веди себя соответственно».

Ирма всегда умела с собой договариваться. И когда пять лет спустя, легко и по-дружески расставшись с Митей, тут же выскочила замуж за его ослепительно красивого приятеля Мишу, скульптора с золотым сердцем и сильными руками, даже не вспомнила, что Келли предрекал ей второго мужа с таким именем. А когда они с Мишей снялись с места и переехали в Вильнюс, где у него жила вся родня, Ирма, конечно, подумала: «Надо же, как все забавно складывается, Карлсон-то мой пророком оказался». Но тут же снова выбросила из головы Келли и его болтовню. «Сам виноват, нарушил обещание, не пришел с того света меня навестить, вот и сиди теперь, как дурак, в полном забвении, не хочу тебя вспоминать и не буду, хоть ты тресни».



\* \* \*

В сорок семь лет Ирма выглядела самое большее на тридцать, хотя занималась своей внешностью примерно пять минут в сутки. Два умывания, утреннее и вечернее, после утреннего заплести косу, торопливо намазать лицо кремом, выбранным наобум, исключительно за приятный аромат, — и все, отвяжитесь, хватит с меня. Знакомые изумлялись и подозревали Ирму в тайных махинациях с пластической хирургией, а она только плечами пожимала — пусть болтают что хотят. Невозможно объяснить людям, что, когда ты рисуешь, время для тебя останавливается, и это не красивая метафора, а совершенно реальный, хоть и не описанный пока учеными физический процесс. И если рисовать каждый день как минимум по несколько часов, результат твоих регулярных выпадений из общего потока рано или поздно станет заметен окружающим. Никому ничего невозможно объяснить, не стоит и пытаться, пусть сами про тебя все придумают, как им удобно, справятся небось, им не привыкать.

«Если рисовать всегда, то и умирать не придется, — думала Ирма. — Просто технически невозможно умереть, пока рисуешь. Но ничего не выйдет, потому что хоть все дела на свете отмени, а спать иногда надо. И жрать, и в туалет ходить. И еще, черт бы всех побрал, за покупками, потому что Мишенька у меня, конечно, умница, солнышко и культурный герой, но если послать

его, к примеру, за черным хлебом, вернется под вечер с копченым окороком, гавайской гитарой и, возможно, манускриптом из архива Ордена Золотой Зари, а хлеба в доме не будет, хоть убей, пока я сама за ним не отправлюсь. Поэтому бессмертной мне не стать, а жаль. Господи, как же жаль».

Так думала она, приближаясь к кулинарии на улице Стиклю, где всегда покупала финиковые марципаны для Миши и печенье с грецкими орехами для себя. Посмеивалась над собственными амбициями — ишь, в бессмертные захотела! — но и грустила почти всерьез, потому что по-прежнему боялась смерти и с каждым годом все больше убеждалась, что совершенно не готова вот так лечь и умереть, как последняя дура, рухнуть в холодную пустоту, где не будет ни холстов, ни красок, ни света, и самой Ирмы, надо понимать, тоже не будет, — и как же я там одна, без себя?

Она так задумалась, что чуть не налетела на вышедшего из кулинарии невысокого толстяка с целым подносом пирожных, но все-таки вовремя отскочила в сторону, успев удивиться — с каких это пор на Стиклю продают «корзиночки» из моей юности? Здесь, в Вильнюсе, таких небось и при советской власти не было, их и у нас-то только в одном месте пекли, перед праздниками там очереди выстраивались — мама не горюй! А потом отвела глаза от подноса, поглядела на его счастливого обладателя, и вот тут-то земля ушла у нее из-под ног, а ветер засвистел в ушах так звучно и пронзительно, словно Ирма

не стояла столбом посреди улицы Стиклю, а летела над городом со скоростью небольшого спортивного самолета. Скульптурные черты, длинные миндалевидные глаза, нежный, почти девичий рот, копна спутанных черных волос — двойник? Брат-близнец, с которым Келли коварно разлучили в младенчестве? Впрочем, брат-близнец был бы сейчас гораздо старше.

Толстяк заговорщически ей подмигнул и зашагал дальше. В последний момент Ирма, сама не понимая, что делает и зачем, схватила с подноса пирожное. Охнула смущенно, приготовилась извиняться и как-то объяснить свою выходку, но владелец пирожных и бровью не повел. А сворачивая за угол, громко взвыл гнусным утробным голосом, как дурацкое привидение из мультфильма.

\* \* \*

Вместо того чтобы идти в кулинарию, как собиралась, Ирма, по-прежнему почти не соображая, что и зачем делает, отправилась к реке. Шла быстро, время от времени начинала бежать, но сразу теряла дыхание и снова переходила на шаг. На мосту через неширокую быструю Вильняле она наконец остановилась и как-то внезапно успокоилась. Внимательно посмотрела на пирожное, наконец набралась решимости и откусила, немедленно перемазавшись воздушным кремом. «Надо же, — подумала она, — а ведь действительно та самая „корзиночка“, забывае-

мый вкус. Какие же они, оказывается, приторные были, жрать невозможно, а считалось — лучшие в городе». Пирожное, однако, съела целиком, даже крошки с ладони слизала. Потом полезла в карман за сигаретами. Стояла, курила, смотрела на по-зимнему темную воду, думала: все-таки удивительное ощущение — больше ничего не бояться. Потом, наверное, привыкну, а сейчас в точности как в детстве, когда косу отрезала, и несколько дней казалось, что голова ничего не весит и в любой момент может улететь, как воздушный шар.

Из-под моста выскользнула ярко-красная байдарка, гребец в оранжевом жилете приветливо помахал стоящей на мосту женщине. Ирма взмахнула рукой в ответ.

## Улица Траку

Trakų g.



### Солнечный кофе

*В зимний период многие районы Исландии погружаются в кромешную мглу не только за счет близости страны к полярному кругу, но и по причине гористого рельефа. Поэтому во многих долинах появление первых лучиков солнца из-за горы всегда воспринималось как увертюра предстоящей весны, как ее золотое знамя. К моменту появления солнца крестьяне окрестных усадеб собираются в условленном месте, стараясь напечь блинов и успеть сварить кофе, пока капризное солнце вновь не скрылось за вершинами. Веселье возобновляется при новом появлении солнца, пока его свет вновь не становится обыденностью. Дата празднования, конечно же, зависит от появления солнца в отдельно взятой местности, однако в крупных населенных пунктах дату принято усреднять и фиксировать. Например, жители столицы Исландии Рейкьявика варят солнечный кофе 27 января.*

Покончив с последним клыком, Юль отходит на несколько шагов и внимательно оглядывает дело рук своих. Саблезубый снеговик с перекошенной от злобы физиономией возвышается над сияющими ядовитой цинковой белизной сутробами. На голове у чудища черное, нет, *черное* эмалированное ведро, в тонких ручках-веточках огромная коса — не то ржавая, не то окровавленная. Отличная вышла картинка. «Белая смерть» называется. Такую фиг продашь, конечно. Зато можно повесить над собственным, с позволения сказать, ложем. Или даже одром. «А что, и повешу, — думает Юль, — пусть только просохнет. Буду любоваться перед сном. Ненависть согревает, в отличие от электрокамина, который только киловатты жрать горазд».

— Ненавижу зиму, — вслух говорит Юль. И с наслаждением повторяет по слогам: — Не-на-ви-жу!

«И зима отвечает тебе взаимностью», — мрачно добавляет она уже про себя, разглядывая обветренные руки — сколько уже кремов и мазей перепробовала, сколько денег выкинула на этот сырой, промозглый ветер, никакого толку, хоть плачь. И в зеркало лучше не глядеть, потому что зимой там живет бледная мымра с тусклыми, как паутина, волосами, потрескавшимися губами и вторым подбородком, наметившимся уже в декабре и изрядно с тех пор подросшим на сладких, жирных, горячих зимних харчах. Не Юль, а самая настоящая «поня Юлия», экая пакость.

Летом не так, и даже весной уже совсем другое дело. Каждый год в начале апреля Юль вылезает из тяжелого,

толстого серо-бурого пуховика, как бабочка из кокона, — еще блеклая, измятая, вялая, но уже живая и с крыльями, которые вот-вот раскроются, дайте только время, дайте дожить до первого жаркого дня, до первого сарафана, и голые плечи мгновенно станут бронзовыми, руки тонкими, глаза сияющими, а светло-русые волосы выгорят еще в мае до цвета небеленого льна.

Себя летнюю Юль любит, бережет, холит и лелеет, себя зимнюю ненавидит почти так же, как саму зиму, — за то, что живет, как дура, здесь, за тысячи верст от ласковых южных ветров, и ничего не может с этим поделать.

«Январь заканчивается, — думает она, — теперь пережить бы февраль. Достать чернил, поплакать, как предписывает традиция, и пережить. Долбаный февраль. Самый короткий зимний месяц по календарю, самый длинный по ощущениям, невыносимый, нескончаемый, не зря февраль по-украински „лютый“, ох какой лютый, святая правда. Но даже до этого страшного февраля еще надо дожить, дотерпеть, сегодня у нас какое? Двадцать седьмое? Значит, еще четыре дня. Ох ты господи».

Юль слоняется по дому, ищет теплые носки, напевает себе под нос: «За что, за что, о боже мой, за что, за что, о боже мой?» Если бы композитор Штраус знал, как отчаянно будут фальшивить некоторые неблагодарные потомки, пытаясь воспроизвести его развеселые мотивчики, он наверняка отказался бы от идеи писать оперетты, и от идеи жить дальше он тоже, пожалуй, отказался бы. «Но человеку не дано заглянуть в будущее, — думает Юль, — и это обычно к лучшему».

Ее собственное будущее, по крайней мере ближайшее, безрадостно. Да что там, оно просто ужасно. Потому что вот прямо сейчас, как только найдутся носки, надо собрать волю в кулак, надеть все, что есть, обмотаться шарфом и выйти на улицу. И пойти. По морозу. Далеко-далеко, четыре квартала до офиса телефонной компании, потом еще два — до ближайшего банка, а потом, получается, целых шесть обратно до дома, даже думать не хочется. Однако надо, надо, надо, уже три дня надо позарез, но невозможно было себя заставить. И сейчас, честно говоря, невозможно, но из телефонной компании прислали последнее предупреждение, сегодня крайний срок; если не заплатить, отключат — ладно бы телефон, но и Интернет тоже, а это никак нельзя допустить, в Интернете живет работа. Не настолько хлебная, чтобы позволить себе проводить зиму в теплых краях, но хоть за квартиру заплатить хватает, и даже второй подбородок отрастить на сдачу, как показывает практика, вполне получается. Поэтому — два свитера, кофта, носки, сапоги, шарф. И мерзкая колючая шапка. И пуховик, который с каждым днем становится все тяжелее. Как будто тоже отъедается за зиму.

«А что ж, — думает Юль, — конечно отъедается. Меня жрет, сволочь ненасытная. Уже почти всю сожрал. Весной, — обещает она себе, — я вынесу эту дрянь на улицу и сожгу. Сперва потопчу ногами, а потом плюну и сожгу. С песнями и плясками. Вонница небось будет... А все равно».

Она уже шестой год тешит себя этим сладостным обещанием. Но весной Юль так счастлива, что не вспоминает о мести. Оно и к лучшему, честно говоря: зимняя одежда стоит дорого, а радости от нее все равно никакой, наряжаться зимой бессмысленно, так что пусть уж будет пуховик, серый как мышь, бурый как медведь, уродливый, как помойное ведро, черт с ним.

Зима начинается прямо в подъезде, промерзшем, как пустой холодильник. «Зря я ругаю свой обогреватель, — думает Юль, — он старается, как может; по сравнению с этим ужасом у меня дома практически тропики, мамочки, как же хочется зайти обратно, захлопнуть дверь, не раздеваясь нырнуть под одеяло, в тепло, господи боже мой, в тепло». Но она все-таки идет вниз, скользит на обледневших ступеньках, цепляется за перила. Наконец распахивает дверь подъезда, а там, конечно же, ветер, черт бы его побрал. И солнце — бледное, лживое зимнее солнце, светит, но не греет, гадина такая, лучше бы уж пасмурно и слякоть, но хоть на полградуса выше нуля.

— Мороз и солнце, день чудесный, — вслух говорит Юль.

Сейчас она очень жалеет, что Пушкина убили на дуэли. В смысле что это сделал какой-то посторонний дяденька, а не она сама. Вот бы своими руками гада такого, а! Зима ему нравится. Солнышко ему подавай с морозцем. Тьфу!

Полтора часа спустя, отогревшаяся сперва в хорошо протопленном офисе телефонной компании, а потом в банке, ограбленная, но чертовски довольная собой, Юль выходит на улицу, готовая мужественно противостоять морозу и ветру — целых двадцать минут. Или пятнадцать, если время от времени переходит на бег. Но это вряд ли, почти вся дорога в гору, и еще пуховик этот чертов, два килограмма дополнительного веса, а по ощущениям — целый пуд. И сапожищи по полкило каждый. «Ненавижу, — привычно думает Юль. — Ну, зато спорт, — неуверенно, почти заискивающе говорит она себе. — Хоть какая-то физическая нагрузка. Полезно».

И, приободрившись, ускоряет шаг.

Телефон зазвонил, как только Юль вынырнула из тихого пешеходного переулочка на узкую, но людную и шумную улицу Траку. Словно бы только и ждал момента, когда ей будет неудобно разговаривать, мерзавец. Номер незнакомый, но заграничный, в смысле украинский, а значит, наверняка звонят из Киева. Те самые ребята, которые еще в октябре дизайн сайта заказали, потом передумали, месяц спустя вернулись с извинениями — дескать, давайте все-таки работать, — и после этого снова исчезли.

Юль беспомощно огляделась по сторонам — куда бы нырнуть, чтобы поговорить спокойно? Магазины с кальянами и бронзовыми Буддами закрыты, в крошечной табачной лавке топчутся пять здоровенных дядек, все пространство заняли, не втиснешься, а в роскошный

бельевой бутик в этом жутком пуховике заходить неловко, продавщицы, конечно, на улицу не выгонят, но та-а-ак посмотрят... Ну их.

В итоге она свернула в ближайшую подворотню, достала из кармана телефон, поспешно нажала зеленую кнопку: «Я вас слушаю! Алло! Говорите!» Но в ответ раздавалось только приглушенное сопение, сопровождаемое развеселой музыкой на заднем плане — не то Бреговичем тешится анонимный молчун, не то заправдашние цыгане его похитили и теперь празднуют удачное завершение дела, поди разбери. И надо бы убрать телефон в карман, захочет — перезвонит, да любопытство не позволяет — кто же это, интересно? И вдруг все-таки про работу?

— Девочка! — звонко сказала какая-то женщина в глубине двора. — Видишь? Я выиграла! И ты идешь за конфетами.

— А она еще не зашла во двор, — ответил спокойный мужской голос. — В подворотне стоит. Так что не считается.

Они говорили довольно тихо, но акустика здесь будь здоров, так что Юль все равно услышала. И, поскольку неведомый молчун с цыганами наконец дал отбой, завершил так и не начавшуюся беседу, она обернулась, чтобы поглядеть, что там у нее за спиной делается.

А за спиной у нее самый обыкновенный виленский двор: крепкие кирпичные стены, ветхие дровяные сараи, проволочные параллельные прямые, многократно пересекающиеся при помощи бельевых прищепок, низенькие

оградки вокруг мертвых сейчас палисадников, невысокие раскидистые деревья и дремучие кусты. Летом-то они зеленые, а сейчас голые, еще и обледеневшие, и сосульки нагло, вызывающе сверкают на солнце, как бриллианты-самозванцы. А возле подъезда, дверь которого выкрашена в жизнерадостный оранжевый цвет, сидят на очищенной от снега скамейке дедушка и бабушка. Вроде симпатичные. Но, несомненно, сумасшедшие: установили на деревянном ящике газовую горелку, на горелку водрузили кастрюльку, варят что-то, вместо того чтобы дома сидеть, на теплой кухне. Впрочем, может быть, у них дома дети, внуки и другие домашние животные, вот и спасаются бедняги на улице, в такую холодрыгу, помоги им боже.

— Или сюда, девочка! — Бабушка, закутанная в цветастый платок и рыжую лисью шубу, приветливо помахала ей рукой в яркой зеленой варежке.

Голос ее звучал приветливо и одновременно властно, так что Юль, не помышлявшая ни о чем, кроме поспешного бегства домой, невольно сделала несколько шагов по направлению к скамейке. Сама не поняла, как это вышло.

— Все, она во дворе! Где мои конфеты?

— Ты ее позвала. Так нечестно, — проворчал дедушка. — Но ладно уж.

Поднялся и зашел в подъезд. А Юль нерешительно потопталась на месте и наконец спросила:

— Вы поспорили, кто первым во двор зайдет, мужчина или женщина?

Бабушка заговорщически ей подмигнула и рассмеялась: — Совершенно верно. Заключили пари. И благодаря тебе я только что выиграла конфеты, да какие! Мартин их из Барселоны привез, у нас такие не купишь. Он бы меня, конечно, и так угостил, но выигранное в сто раз вкуснее. Особенно если немножко сжульничать.

Юль только теперь поняла — никакая она не бабушка. Просто платок сбивает с толку, а снять его — и поймешь, что бабушкой эту женщину называть глупо, даже если у нее и правда внуков полон дом, вон какая красивая, глазищи синие, и ямочки на румяных от мороза щеках.

— погоди, Мартин сейчас вернется с конфетами, попробуешь, — сказала женщина. — И кофе с меня причитается, конечно. Даже не думай возражать.

— Кофе?!

Юль ушам своим не поверила. «Так это они, получается, кофе варят. Во дворе. На морозе. Совсем больные на голову», — подумала она, хотя не употребляла это выражение с детства, а тут вдруг вспомнила, очень уж случай подходящий.

— Кофе, — кивнула «больная». — Подожди буквально минуту, он уже почти готов... Меня зовут Майя, а тебя?

— А меня Юлия. — Юль по привычке приделала к имени, которым называет себя сама, тягучее, сонное окончание. Чтобы лишних вопросов избежать. Ей сейчас не до вопросов, ей сейчас надо вежливо улыбнуться, отказаться от кофе и конфет и бежать домой. Ноги уже практически отнялись на этом чертовом морозе.



— Юля-июля, — улыбнулась женщина. — Да у нас тут практически собрание братьев-месяцев. Хотя преимущественно — сестер. И кворума, конечно, нет и не предвидится. — И заметив наконец, что Юль ничего не понимает, снисходительно пояснила: — Мартин, Майя и ты, Юль-июль. Два весенних месяца и один летний. Неплохо, по-моему.

«Ну и фигли тогда так холодно», — мрачно подумала Юль, но вслух, конечно, ничего не сказала. И даже попыталась улыбнуться, насколько позволили одеревеневшие на морозе лицевые мышцы.

— Совсем замерз ребенок, ты что, не видишь? — укоризненно сказал Мартин.

В руках у него был плед. Красный, в зеленую клетку. Очень яркий. И очень толстый. От одного взгляда на него стало теплее, а дедушка Мартин — уж он-то все-таки именно дедушка, бодрый и подтянутый, но явно гораздо старше своей подружки — развернул плед и одним ловким движением закутал в него Юль, как ребенка в полотенце после бани.

— Ой, — смущенно пискнула она. И умолкла. Потому что вдруг стало тепло — вот прямо сразу, раз, и все! Как будто в натопленную комнату вошла. Как наброшенный на плечи плед мог согреть торчащие наружу ноги и нос, совершенно непонятно. Но здорово.

— Вот это ты молодец, — одобритительно кивнула Майя. — А конфеты?

— Здесь. — Дедушка Мартин похлопал себя по груди, вернее, по тяжелому полушубку. Звук получился гул-

кий, как будто под овчиной скрывались рыцарские латы. — Ты жульничала, поэтому отдам только в обмен на кофе. Третью кружку я, кстати, принес.

— Сообразительный, — обрадовалась Майя. — Давай ее сюда, все уже готово... Ребенок, ты жив? Садись сюда, — и выразительно похлопала по скамейке ярко-зеленой шерстяной ладошкой.

Юль послушно села. Сейчас она была готова на все, лишь бы плед не отобрали. Не мерзнуть — вот в чем смысл жизни, радость и благодать. Не мерзнуть — это и есть счастье. Оно, оказывается, достижимо — при жизни и даже в январе. И пусть длится, сколько возможно, а еще лучше — вообще всегда.

— Вкусно? — требовательно спросила Майя.

Она, конечно же, про кофе. Юль кивнула, молча, но страстно, с полной самоотдачей. Потому что кофе действительно сказочно вкусный, хоть и варили его на улице, на газовой горелке, в алюминиевой кастрюльке с мятым боком и, похоже, вовсе без пряностей. А может быть, как раз именно поэтому. На таком морозе даже безмозглый напиток вполне может решить, что всему конец, и расстаться напоследок. В смысле проявить себя наилучшим образом. Пропадать, так с музыкой.

— Вкусно? — спросил Мартин.

Это он про конфету. Юль закивала еще более страстно. Потому что конфета невероятная оказалась, не шоколадная, не карамель, не леденец и не мармелад, вообще ни на

что не похожа. Прессованная ореховая пыль, почти не сладкая, тает во рту — что-то невысказанное, короче.

— Я три коробки из Барселоны привез, — сказал Мартин. — Теперь жалею, что так мало. Когда еще снова туда попаду.

— Там зимой тепло, наверное, — вздохнула Юль.

— Я был перед самым Рождеством. Плюс пятнадцать.

Юль почувствовала, что сейчас заплачет от зависти и жалости к себе. И, чтобы отвлечься, спросила:

— А почему вы на улице кофе варите? Потому что так вкуснее?

— Действительно, получилось вкуснее, чем дома, — закивала Майя. — Я тоже впервые в жизни этим занимаюсь, — объяснила она. — Мартин меня подбил. В честь праздника.

— У кого-то из вас день рождения?

«Странный способ праздновать день рождения, конечно. Но они уже довольно старые, — думает Юль. — В смысле давно живут. И им, наверное, все надоело, хочется чего-то новенького. Вот и пошли с кастрюлей на мороз».

— Не день рождения. — Они заговорили наперебой.

— Другой праздник.

— Исландский.

— Так и называется — «Солнечный кофе».

— У них же там зимой темно, солнца пару месяцев вообще не видят.

— А когда оно наконец появляется на небе, все варят кофе на улице, чтобы солнечный свет с водой сме-

шался. — Мартин наконец перехватил инициативу. — Я в прошлом году, как раз в конце января, оказался в Рейкьявике. И угодил на этот праздник. А сегодня посмотрел в окно — солнце. А на календаре двадцать седьмое. Ну и подумал: чем мы хуже исландцев? У нас тоже зима длинная. И дни короткие. Правда, исландцы еще и блины на улице пекут, но мы трезво оценили свои возможности.

— Вот это да!

Юль не знала, что еще тут можно сказать. Разве что «больные на голову». Но такие комментарии лучше держать при себе.

— Вы много ездите? — спросила она. — И в Рейкьявике были, и в Барселоне...

— И еще черт знает где. Я и здесь ненадолго, проездом. Такая работа.

«Надо же, какой сладкий хлеб у некоторых людей бывает», — подумала Юль и снова чуть не разревелась от зависти. В ее голове толкались локтями и оглушительно верещали маленькие, злобные, подлые мыслишки: он такой старый, зачем ему, лучше бы мне, мне, мне!

«Стыдно, ой как стыдно-то», — старательно думала Юль, очень громко думала, почти кричала, в надежде заглушить всю эту из темных углов поналезшую пакость. Поэтому спросить, что это за работа такая — по разным городам ездить, — так и не решилась.

— Я бы тоже так хотела, — наконец пробормотала она. И совсем тихо добавила: — Особенно по теплым странам.

— Ну и кто тебя держит? — рассмеялась Майя. — Семеро по лавкам и поросенок в сарае? Что-то непохоже. Ты кто по профессии?

— Ну так, всего понемножку: сайты делать могу, переводить, шить на заказ, бижутерию всякую мастерить, кукол. — Юль окончательно смутилась, но все-таки добавила, почти шепотом: — И рисовать. Я... н-н-ну... как бы немножко художник.

— Художник? Вот это повезло! Так у тебя, считай, весь мир на ладони.

Майя так сияла, словно это она была художником и мир лежал на ее ладони, а не на Юлиной. Впрочем, похоже, именно так оно и было. На такой ладони — узкой, длинной, ухоженной, украшенной сверкающими кольцами — что ж не полежать.

— Чтобы путешествовать, нужны деньги, — мрачно заметила Юль. — А я неизвестный художник. Нас таких больше, чем кисточек...

— Брось, — отмахнулась та. — Не прибедняйся, это во-первых. А во-вторых, чтобы путешествовать, не нужно ничего, кроме желания.

— Еще нужна решимость, — неожиданно вмешался Мартин. — И деятельная воля. И конечно, точка отсчета.

— Точка отсчета? — переспросила Юль. — Это как?

— Это очень просто. Смотри, что получается: почти всякий человек, кого ни возьми, не слишком доволен своей жизнью. Одному не нравится работа, другому семья, третьему место жительства, четвертому, вот как

тебе, климат. А некоторым — все вышеперечисленное и еще куча вещей. И люди говорят себе: ничего, однажды все изменится. Такое обещание дает им силы жить дальше. Но оно же мешает настоящим переменам. Понимаешь, о чем я? Человек думает: «Однажды все изменится», как будто это должно случиться само, без его участия. А так не бывает. Надо не думать, а делать. Сказать себе: мое «однажды» уже наступило, откладывать больше некуда, давай действуй! Вот это и есть точка отсчета, о которой я говорю, — тот день, когда наступило твое «однажды». Понимаешь?

Юль молча кивнула. А что тут скажешь, когда все так и есть. Сколько раз себе обещала: в следующем ноябре меня здесь уже не будет. Ну и толку от этих обещаний?

— Ты, конечно, ужасно умный, — улыбнулась Майя. — И все очень правильно говоришь. Ты только одно упустил из виду: мы с Юлей девочки. Нам менять жизнь гораздо проще. Иногда достаточно просто переодеться. А в некоторых случаях, — выразительно добавила она, — это просто жизненно необходимо.

Юль почувствовала, что краснеет.

— Его уже давным-давно пора выбросить, — пробормотала она, вцепившись в рукав своего серо-бурого пуховика. — Который год собираюсь, но летом не до того, а потом приходит зима, и становится все равно... По крайней мере, он теплый.

— Понимаю, — сочувственно кивнула Майя. — Думаю, ты просто никогда не пробовала наряжаться зимой.

А это, поверь мне, очень помогает. Тебе нужно что-нибудь яркое — желтое, оранжевое, красное...

— Или зеленое, как трава, — мечтательно улыбнулась Юль.

— Как скажешь, — согласилась Майя. — Пусть будет зеленое. погоди, я сейчас. Подержи.

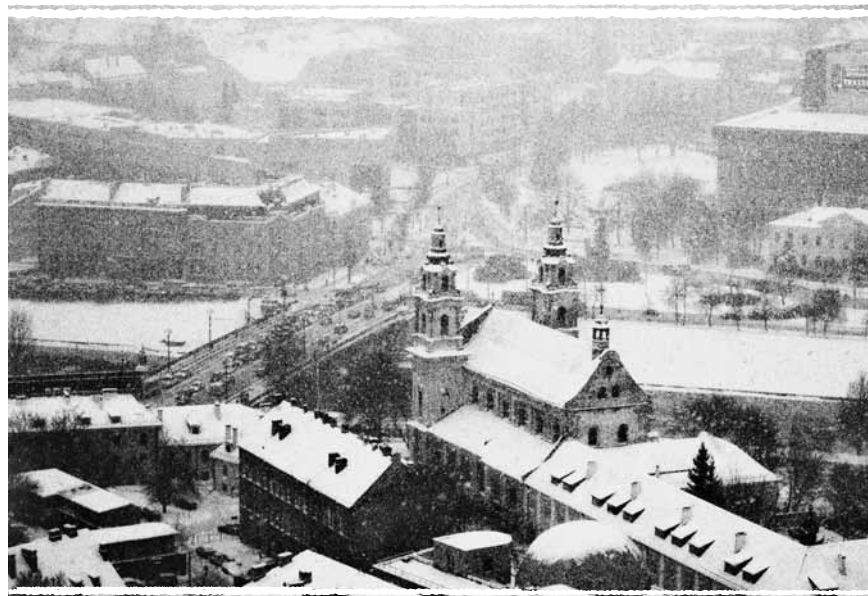
Поднялась, сунула ей в руки свою кружку с кофе и скрылась в подъезде.

Юль хотела спросить старого Мартина: «Куда это она?» — но он как раз отвернулся, достал сигарету и теперь возился со спичками, пытаясь прикурить на ветру. Без говорливой Майи Юль вдруг почувствовала себя лишней, запоздало застеснялась, да так, что удрала бы отсюда немедленно, если бы не плед. Из-под такого пледа добровольно вылезать на мороз — ох, нет, пожалуйста, не сейчас. Никто ведь не гонит? Вот и сиди.

Майя вернулась так быстро, что Юль даже помучиться толком не успела. С охапкой ярко-зеленого меха в руках. Юль сперва подумала, это она еще один плед принесла, себе, потому что замерзла. И только когда Майя скомандовала: «Вставай, раздевайся!» — поняла, что это не плед, а дубленка. Крашенная. Цвета майской травы. Зачем это? А вставать зачем?

По-своему истолковав Юлино замешательство, Майя сочувственно затараторила:

— Да-да-да, я знаю этот плед, с ним по доброй воле не расстаются. И тут, снаружи, по-прежнему очень холодно. Но мы сейчас, быстро-быстро. Март, помоги ребенку... нет, лучше помоги мне. Давай, давай!



Юль глазом моргнуть не успела, как эти двое подняли ее со скамейки, вытряхнули из пледа, а потом и из пуховика. Она почти задохнулась от холода, но тут на плечи навалилась новая теплая мягкая тяжесть — зеленая дубленка сидела на ней как влитая, а Майя заботливо застегивала пуговицы.

— Хороша, — сказала она. — Сама бы носила. Но на мне она едва сходится. Пять лет я верила, что это поправимо. Только подумай — пять долгих лет самообмана, оскорбительного для всякого мыслящего существа. Пора бы уже расстаться с иллюзиями — в честь праздника. И ты мне поможешь.

Юль чувствовала себя окончательно сбитой с толку. И одновременно согретой. В зеленой дубленке было тепло — в точности как в пуховике под пледом. А может быть, еще теплее, она была слишком потрясена, чтобы беспристрастно анализировать и сравнивать ощущения.

— Как я вам помогу? — наконец спросила она.

— Очень просто. Уйдешь отсюда в этой шкурке. Чтобы глаза мои ее больше не видели. И тогда воспоминания о былом сорок втором размере перестанут терзать мою душу, — скороговоркой выпалила Майя.

— То есть вы хотите мне ее отдать? — Юль ушам своим не верила.

— А ты думала, просто подразнить?

— Но я не... не... не могу, — запинаясь, забормотала Юль.

— То есть не хочешь? — строго спросила Майя.

Это был удар ниже пояса. Юль закусил губу, чтобы не заорать: «Хочу! Еще как хочу!» — и промычала что-то невнятное про «слишком дорогой подарок» и «вы же меня совсем не знаете».

Из состояния шока ее вывел едкий запах дыма. Аромат паленого дерьма, сказала бы она наедине с собой. Но в присутствии своих новых, «больных на голову» знакомых Юль старалась выразаться как можно деликатнее, даже в мыслях. Поэтому пусть будет «едкий запах дыма», хотя для таких случаев есть гораздо более точное слово «воньца».

— Это я виноват, — объявил дедушка Мартин, размахивая перед носом Юль наполовину выкуренной и теперь погасшей сигаретой. — Страхивал пепел, а выпал уголек — в смысле горящий табак. А я не заметил. Какая беда! Твою куртку уже не спасти.

Только теперь Юль поняла, что это тлеет ее сброшенный на землю пуховик. Дымит и смердит, как несвежие простыни из самой дешевой адской гостиницы. А виновник катастрофы поспешно отпихивает его ногой прочь, подальше от скамейки. Вид у него при этом не виноватый, а чрезвычайно довольный. Ясно, что нарочно поджег.

— Ну вот, теперь без вариантов, — удовлетворенно констатировала Майя. — Теперь это не подарок, а компенсация ущерба. Твоя совесть чиста. Наша тоже. Все довольны. На этой оптимистической ноте можешь...

И тут зазвонил телефон. Юль не понимала, каким образом он оказался в кармане зеленой дубленки. Ну, видимо,

машинально схватила, когда эти двое ее раздевали. И машинально же сунула в новый карман. Еще бы, так растерялась. Она, собственно, до сих пор в себя не пришла. Только пискнула: «Я сейчас, мне надо ответить» — и почти бегом устремилась в подворотню, повинувшись инстинктивной потребности всякий раз уединяться для телефонного разговора.

На этот раз киевским заказчиком удалось пробиться сквозь помехи. Они больше не сопели в трубку, а деловито пытались выяснить, не согласится ли Юль сделать дизайн за половину оговоренной прежде цены. А получив решительный отказ, предложили уменьшить объем работы. Торговались долго, в конце концов пришли к более-менее приемлемому для всех сторон компромиссу, распрощались, назначив на вечер деловое свидание в скайпе, и только тогда Юль поняла, что все это время стояла на месте и не замерзла. Не замерзла! Со всем! Она! Надо же, какая теплая оказалась дубленка.

«Наверное, я все-таки могу ее взять, — подумала Юль. — Пуховик-то испортили, действительно. Какой молодец этот дедушка Мартин. Я столько лет не могла собраться спалить эту дрянь, а он — раз, и все. И вопрос закрыт».

Она пошла было обратно во двор, чтобы поблагодарить Майю за дубленку, а Мартина за пожар и, если хватит смелости, предложить им в подарок свои картинки, а вдруг возьмут? Но во дворе никого не было, только Юлин потемневший пуховик агонизировал у подножия мусорного бака, источая ядовитый дым. «Ушли уже,

получается, — растерянно подумала Юль. — И горелку унесли. И кастрюльку. И плед. И кому же я теперь спасибо скажу? Вот же... больные на голову. Такие хорошие!»

Юль идет по улице Траку, подставляя лицо бледным лучам зимнего солнца. То и дело косится на свои отражения в витринах — какая-то незнакомая красotka в ярко-зеленой дубленке до пят повторяет все ее движения — шагает, поправляет шапку, вертит головой. Теперь, получается, я такая? Ну и дела.

Поднимаясь на холм, на вершине которого стоит ее дом, Юль думает: как-то странно я себя чувствую. Как-то необычно. Лицо горит, и, кажется, спина под свитером влажная. Это мне, что ли, жарко? Как летом? Ну и дела. Тогда, получается, можно не торопиться?

Она понемногу сбавляет шаг и наконец усаживается на теплую от солнца лавку возле Русского театра. Думает: «Жалко, что я не взяла сигареты. Мне же в голову не могло прийти, что зимой можно курить на улице. Впрочем, и без сигарет неплохо».

«Жила-была девочка я, — думает Юль. — Собственно, не то чтобы такая уж девочка. Здоровая корова, если называть вещи своими именами. И было этой девочке-корове ужас как холодно. Поэтому она целыми днями сидела под одеялом и страшно себя жалела. И вот однажды, всего полчаса назад, все вдруг — хлоп! — чудесным образом переменилось. И теперь совершенно непонятно, что будет дальше. Но что-то будет, это точно».

## Улица Ужупё

Užupio g.



### Мартовские игры

— Еще одну? — спрашивает Нёхиси.

Он только что продул мне с разгромным счетом и хочет отыграться. Любой на его месте хотел бы.

Я не прочь поиграть еще, но после моей сокрушительной победы на улице стало так хорошо, что я думаю — а не пойти ли туда прямо сейчас? Там ослепительно светит солнце, тучи, всего пять минут назад щедро посыпавшие город крупными хлопьями снега, стремительно разбегаются кто куда, а по мокрой булыжной мостовой улицы Ужупё ковыляет одуревшая от хмельного весеннего ветра утка, забывшая, что река совсем в другой стороне.

Я сочувственно смотрю на утку, прижавшись носом к оконному стеклу. Думаю — может, выскочить из кафе, сказать глупой птице, что она сейчас удаляется от воды? Впрочем, эта утка уже давно большая девочка. Сама разберется.

Утка и правда останавливается, некоторое время задумчиво глядит по сторонам, а потом, суматошно захватив крыльями, отрывается от земли, делает круг почёта над головой бронзового ангела с трубой и улетает в сторону Вильняле. Опомнилась. Вот и молодец.

— Ну так еще одну? — настойчиво спрашивает Нёхиси.

— Пожалуй.

Мы играем в шеш-беш. Но, конечно, не в суетный Backgammon, совсем недавно придуманный каким-то англичанином\*. Нам по сердцу «длинные нарды», древняя персидская игра, где поле уподобляется небу, движение фишек по кругу символизирует ход звезд, каждая половина доски, состоящая из двенадцати отметок для фишек, — двенадцать месяцев в году, двадцать четыре пункта равно числу часов в сутках, а тридцать шашек — число дней лунного месяца.

Именно то, что требуется.

Мы часто играем в нарды. А уж в марте не пропускаем ни одного дня. Может быть, потому, что в самом начале весны совершенно невозможно усидеть дома, а на улице уже через час становится зябко, самое вре-

---

\* Правила игры в Backgammon (т. н. «короткие нарды») были установлены англичанином Эдмондом Хойлом (Edmond Hoyle) в 1743 году.

мя забиться в кресло в теплом сумрачном углу какого-нибудь кафе.

Впрочем, не «какого-нибудь». Место действия — это тоже очень важно.

Обычно мы играем в нарды в кафе «У ангела» на улице Ужупё — нам по душе их лаконичный интерьер, качество капучино, близость реки, вид из окон и соседство бронзового ангела, снисходительно смотрящего на наши игры, пока мы столь же снисходительно взираем на него.

Нёхиси бросает кубики. Ду-беш, пять-пять. Прекрасное начало. Похоже, в этой партии удача будет на стороне Нёхиси, тут уж ничего не поделаешь. Утешением мне станет еще одна чашка капучино и рюмка грушевого коньяку. Много не потребуется, пятьдесят граммов этого нектара я могу растянуть на несколько неудачных партий. Но будем надеяться, до этого все же не дойдет.

Нёхиси по-прежнему отчаянно везет, а мне выпадает всякая ерунда; партия еще в самом разгаре, но уже ясно, что с солнышком можно попрощаться. На какое-то время.

Ставка в нашей с Нёхиси игре всегда одна и та же — погода. Единственный вопрос, по которому нам с Нёхиси никогда не договориться.



Я люблю тепло. Мне нравится солнце — в любое время года, даже летом, когда люди начинают хором жаловаться на жару, купаться среди бела дня в городских фонтанах и скорбно смотреть на небо в надежде увидеть там хоть намек на приближающуюся тучу.

А уж насколько я люблю солнце ранней весной — нет подходящих слов ни в одном из человеческих языков, чтобы описать мою страсть к этому светилу. Весной я развлекаюсь, подсчитывая расцветающие во дворах первые подснежники, пунктуально записываю результат и прикидываю — какая улица в этом году победит? Я праздную ледоход, выпивая по глотку грога из термоса на каждом городском мосту, включая безымянный полуразрушенный мост через Вильняле, от которого можно подняться наверх к улице Жвиргджино и Бернардинскому кладбищу; еще один глоток всякий раз непременно достается реке, чтобы ей веселее было делать тяжкую свою работу. Я рыщу по паркам в поисках синих пролесков, звонким свистом приветствую перелетных птиц и, когда никто не видит, целуюсь с набухающими древесными почками.

Нёхиси, напротив, по сердцу зима. Белый снег, скользкий лед, ломкий иней, пронзительный ветер, густые морозные туманы и долгие, на полдня, синие декабрьские сумерки. А еще затяжные осенние дожди, жгучие весенние заморозки, на худой конец, сойдут летние грозы —



при условии, что небо будет плотно обложено тучами и станет темно, как ночью, на меньшее Нёхиси не согласится.

Нёхиси снимает последнюю шашку с доски, а у меня даже не все в доме. Если бы мы играли на деньги, пришлось бы платить двойную ставку. Но мы играем на погоду, поэтому оконные стекла уже звенят от ветра, на улице становится темно, как вечером, а на булыжную мостовую падают первые тяжелые крупные градины.

— А это не слишком? — спрашиваю я.

— В самый раз, — пожимает плечами Нёхиси.

Ну, честно говоря, да. Имеет право. Мне не спорить надо, а поскорее отыгаться. Во дворе на Бокшто позавчера расцвели подснежники, и о них следует позаботиться. Предлагаю:

— Еще одну?

Нёхиси великодушно кивает. Град за окном сменяют крупные хлопья снега, который, впрочем, тает, едва коснувшись земли. Нёхиси меру знает.

В кафе пулей влетает мокрая до нитки, слегка побитая градом, но совершенно счастливая парочка. Рыжий, как предзакатное солнце, молодой человек первым делом избавляется от мокрой кепки, помогает своей спутнице снять пальто, кутает ее в полосатый плед. Они усаживаются у противоположного окна.

— Ну мы и попали, — громко говорит рыжий. — Вышли из дома весной, и вдруг опять наступила зима. По-моему, мартовской погодой управляют какие-то психи.

Нёхиси беззвучно хохочет, закрыв лицо руками.

Я ухмыляюсь и кидаю кости.

## Улица Чюрлёнё

M. Čurlionio g.



### Чертов перец

Этот чертов перец притащил Ежи. Еще на прошлую квартиру, которая была на Жверинасе. Пер на себе через полгорода огромный горшок с землей, из которой торчал трогательный зеленый росток полутора сантиметров роста. Допер-таки, поставил на подоконник и твердо сказал: нельзя тебе совсем одной, в доме должен быть кто-то живой кроме тебя, не возьмешь растение — принесу кошку, ты меня знаешь, поэтому бери меньшее зло, пока дают.

О да, Сабина его знала. А потому дар приняла безропотно, только спросила, что это за хрень такая расчудесная, а Ежи ответил: «Понятия не имею, я каких только семечек туда ни закапывал, что выросло, то выросло, может, помидор, а может, мандарин, хотя на цитрус вроде не похож. Короче, поживем — увидим».

Сабина, конечно, хотела сказать: «У меня все растения дохнут, плохо им со мной, где мой конь пройдет, не растет трава, забыл?» Но промолчала. Что толку спорить, если горшок — вот он, уже здесь; лучший друг и практи-

чески старший брат, злодей, каких мало, упертый, как ослиный бог, принес его и водрузил на подоконник, значит, так тому и быть. «Может, действительно выживет, — думала Сабина. — Ну, вдруг. А буду съезжать — оставлю хозяевам».

Росток оказался не помидором и, конечно, не мандарином, а жгучим перцем. Он не просто выжил, но быстро разросся до состояния умеренно непроходимых джунглей и стал отличным компаньоном, неприхотливым и жизнерадостным, вечноцветущим, бесперебойно плодоносящим; Сабина сама не заметила, как завела привычку, проснувшись, сразу идти к подоконнику — что нового? И сожитель ее не подводил: то очередной зеленый перчик внезапно вспыхнет заалевшим бочком, то новый цветок откроется или, напротив, облетит, обнажив крошечную тугую завязь. «Еще бы чайник ставить по утрам научился, цены бы ему не было», — ворчала Сабина, когда Ежи заходил навестить их обоих, то есть практически каждый вечер. Растение так стойко переносило продолжительные засухи, то и дело наступавшие по вине рассеянной хозяйки, что Сабина в конце концов устыдилась и установила в телефоне напоминание: «Полей меня». На каждый день.

Переезжая, она и не вспомнила, что поначалу собиралась оставить горшок хозяевам. Сама отнесла его в машину, обхватив так крепко, как не обнимала никого из своих любимых, — их-то она не опасалась уронить и разбить. Может быть, зря.

День переезда выдался морозный, а Сабина не сообразила прогреть машину, прежде чем переносить растение, но перец и бровью не повел, уронил на залитый зимним солнцем подоконник нового дома несколько обмороженных листьев и принялся жить дальше как ни в чем не бывало. Ничем его не проймешь, такой молодец.

И вдруг — тля. Еще вчера все было в порядке, а сегодня нежные молодые листья сплошь покрыты бледной пакостью, шевелящейся, копошащейся, *кушающей*.

Откуда она взялась посреди зимы, в квартире, где перец был единственным растением? Откуда вообще берется эта мелкая мерзкая дрянь? Самозарождается из воздуха, из черных мыслей, из скверной кармы горсада? Неведомо.

Сабина понятия не имела, что тут можно сделать. Нормальные люди в таких случаях звонят, например, бабушке. Или маме. И спрашивают, как быть. Бабушка, однако, умерла еще до Сабининого рождения, а вторая, которая по отцу, если и была жива, то вряд ли догадывалась о существовании внучки. Мама же нехстати увлеклась буддизмом за компанию с новым немецким бойфрендом, а потому истреблению живых существ в лице тли способствовать не желала. Впрочем, если бы и желала, толку от нее, потомственной горожанки, уморившей на своем веку полдюжины дареных кактусов, все равно не было бы. «Зачем я вообще ей звонила?» — недоумевала Сабина, вспоминая, сколько стоит в будний день минута разговора с Берлином, и прикидывая, как долго они болтали.

Чертов перец. Чертова тля. Чертов Ежи.

— Чертов Ежи, — сказала она вслух. И повторила: — Чертов, чертов, чертов Ежи, хороший мой, ну как же так, а.

Ежи был всегда, вернее, почти всегда. Первые шесть лет Сабине приходилось справляться с жизнью в одиночку, а потом появился Ежи, как ответ на ее страстные младенческие молитвы о старшем брате, который станет защищать от врагов, придумывать интересные приключения и отвечать на важные вопросы. Вышел во двор, такой высокий — почти до неба, такой взрослый — аж в четвертом классе. Уже почти в пятом. Сказал всем: «Я теперь здесь живу». Сказал Сабине: «Гляди, что у меня есть» — и достал из кармана калейдоскоп, она как начала смотреть, так целый час не могла оторваться. Сказал вредным мальчишкам: «Эту мелкую не трогать, а то будете иметь дело со мной». И с этого дня Сабина дворовая жизнь стала такой замечательной, что вспоминаешь — сама себе не веришь. А все Ежи, не кровный, не молочный, не названный — гораздо лучше, добрыми ангелами посланный брат. Самый прекрасный человек в мире, таких вообще не бывает.

А теперь Ежи в больнице. Уже вторую неделю за чем-то там лежит, как дурак. Говорит, просто на обследовании. Сабина и хотела бы ему поверить, но никак не получается, потому что ясно же, все совсем не просто, и от того, что мы не называем некоторые страшные вещи своими именами, проще не становится. И совер-

шенно непонятно, как жить в мире, где с таким хорошим Ежи все настолько хреново. И главное, зачем. Никак, низачем — такие вот примерно ответы.

И как прикажете надеяться на лучшее, если именно сейчас чертов перец, который принес Ежи, сплошь покрылся неведомо откуда взявшейся прожорливой дрянью и вряд ли переживет такое нашествие. И тогда...

«Стоп, — говорит себе Сабина. — Никаких „и тогда“. Не выдумывай. Симпатическая магия, бред, ахинея и мракобесие. Перец — это одно. А Ежи — совершенно другое. Никакой связи, мало ли, кто кого кому принес». И еще великое множество здравых вещей говорит себе Сабина, но все они гроша ломаного не стоят на фоне иррационального, сокрушительного, неистребимого, как тля, знания, что связь есть и дело, стало быть, плохо. Так плохо, что хоть вот прямо сейчас ложись и помирай, чтобы не стать свидетелем собственного ближайшего будущего.

Чертов, чертов перец. Проклятая тля.

«Интернет, — думает Сабина. — Ну! В сети должно быть море информации, как бороться с тлей. А как же!» Окрыленная, она несется к компьютеру, тычет в клавиши — бесполезно. Ну ничего себе. Никогда еще такого не было. То ли провайдер бастует, то ли модем накрылся тазом из высококачественной меди; это, безусловно, можно выяснить. «Интересно, сколько времени я угрожаю на переговорах со службой поддержки?» — думает Сабина, натягивая джинсы. Она уже приняла решение — ноутбук

в сумку, за четверть часа добежать, например, до «Кофеина» на Траку, там бесплатный вайфай, можно быстренько вызнать все про борьбу с тлей — и пулей по магазинам, потому что скоро они начнут закрываться, а до завтра ждать совершенно невозможно. «Надо сегодня же опрыскать чертов перец каким-нибудь полезным ядом, я же спать не смогу, пока его рядом вот так заживо жрут», — думает Сабина, шнуруя ботинки — скользкие, заразы, хоть плачь, зато теплые, на меху, в отличие от кроссовок, в которых сейчас разве только в ближайший супермаркет выскочить, да и то подвывая на бегу от холода.

«Поразительно, — думала Сабина пять минут спустя. — Вот просто потрясающе. Сидишь дома, считаешь, что все у тебя так плохо — хуже не бывает. Ежи в больнице, перец от тли погибает и, в довершение всех бед, Интернет гикнулся. А потом вдруг оказываешься в сугробе возле помойки со сломанной, скорее всего, ногой и понимаешь, что прежде у тебя была очень даже неплохая жизнь. Да что там, просто прекрасная. Целое, неповрежденное, свободно передвигающееся тело — это такое несказанное счастье, что на все остальное вполне можно забыть. Дура неуклюжая. Обязательно тебе надо было нестись по этому катку. Спешила она, блин. Ну вот, везде успела, поздравляю. И что теперь? „Скорую“ вызывать? Похоже, придется».

Сабина прислушалась к ощущениям. Нога, конечно, болит зверски, о том, чтобы встать, и речи нет, после

первой же попытки она взвыла в голос. Но может быть, все-таки не перелом? Вывих, растяжение, что там еще случается с ногами, неприятное, но не очень страшное, то есть излечимое в кратчайшие сроки, без гипса и, упаси боже, операций. «Мне нельзя сейчас перелом, — в панике думала Сабина, — у меня же дома перец засохнет, пока я в больнице буду; впрочем, тля сожрет его гораздо раньше, а потом сама издохнет от голода, и я этого не увижу. Невелико утешение, но уж какое есть».

Все внезапно стало так хреново, что ни плакать, ни даже жалеть себя Сабина уже не могла. Исследовала внутреннее пространство на предмет стойкости, надежды на благополучный исход или хотя бы невыносимой муки, готовой взорваться криком и слезами, но не нашла там вообще ничего, кроме гулкой, темной, мерзлой пустоты. Все, предел, конец света уже наступил, и наилучшим выходом было бы отключиться, погасить ставшее бесполезным сознание. А оно почему-то никуда не девалось. И значит, придется жить дальше. Сабина полезла в карман за телефоном, чтобы позвонить в «скорую». Чего тянуть, сидеть на льду, слегка припорошенном снегом, совершенно точно не помогает от переломов, но и к мгновенной безболезненной смерти не приводит. К сожалению. А то можно было бы оставить все как есть.

И тут с неба раздался глас. Гулкий и басовитый, как положено.

— Ты чего тут расселась? — бесцеремонно поинтересовался он.

Целую секунду Сабина была совершенно убеждена, что вопрос задал не кто-нибудь, а сам Бог, вот так за просто решил поинтересоваться ее делами, и аж задохнулась от возмущения. Сам все это устроил, и сам же спрашивает!

Сабина никогда не могла поверить, что Бога нет. Ей просто не доставало воображения представить, что весь мир появился случайно, просто так, низачем, существует без причины и смысла и в один прекрасный день вот так же, ни с того ни с сего, бесследно исчезнет. А сейчас подумала — может быть, лучше бы Бога и правда не было, никакого. Чем вот такой.

Словно бы в ответ на ее богоборческие идеи с неба спустилось облако густого вонючего дыма. Как будто немилосердный Господь закурил сигару, чтобы с максимальным комфортом созерцать Сабинины страдания.

Он действительно курил сигару. Не Господь, конечно, а высокий толстый бородач в ослепительно-розовом, изрядно замаранном пуховике, обладатель зычного небесного гласа, плеера с драными наушниками, из которых невнятно доносилось что-то знакомое — Матерь Божья, неужели Pink Floyd?! — и огромной клетчатой сумки на колесиках. Сумка была до отказа набита барахлом, собранным, надо понимать, по мусорным контейнерам. Таких горе-кладоискателей в городе полно, идешь мимо любой помойки, а там непременно кто-то там роется, ищет пустые бутылки, одежду, еще что-нибудь никому



не нужное, но условно пригодное для дальнейшего использования. Собачья жизнь. Завидев очередного такого бедолагу, Сабина всегда отводила глаза, ускоряла шаг и старалась думать о чем-нибудь сложном, абстрактном, на худой конец, лирическом, лишь бы заняло целиком, отвлекло от бесполезного сострадания, защитило от злой судьбы, которая, несомненно, заразна, как холера. А теперь один из этих людей — судя по роскошной экипировке, король мусорщиков улицы Чюрлёнё, а то и всего Нового города — присел на корточки рядом с ней, дымит в лицо вонючей сигарой, спрашивает:

— С тобой все в порядке?

Ну ничего себе вопрос.

— В порядке?! — возмущенно переспросила Сабина. — Это со мной-то?!

Заполнившая ее мерзлая пустота внезапно овеществилась, превратилась в тяжелый стеклянный шар, который незамедлительно треснул и разлетелся на миллион мелких острых осколков. Это было так больно, что слезы брызнули из глаз. Сабина ревела громко, бурно, взахлеб, как в детстве, когда всякое горе — навсегда. Невнятно выкрикивала вперемешку с рыданиями все свои жалобы — про скользкие подметки, сломанную ногу, маму, которую бесполезно звать на помощь, и всегда было бесполезно, Ежи в больнице и чертов перец, облепленный мерзкой прожорливой тлей, и снова про ногу, «скорую помощь» и гипс, который именно сейчас никак, ну никак нельзя.

Много чего можно наговорить, когда твой единственный слушатель — никчемное человеческое барахло, промышляющее сбором чужого ненужного барахла, когда он настолько ничтожней, незначительней, чем любой другой прохожий, что, можно сказать, *вообще не считается*. Даже если разберет что-то в твоих бессвязных сетованиях, не беда. Как будто пожаловалась пустому горшку, который потом можно будет разбить, а черепки закопать, от греха подальше.

Сабина даже не заметила, как собиратель мусора расшнуровал ее ботинок. Только когда принялся стаскивать, охнула от боли и наконец сообразила, что он ее разул. Мелькнула дикая мысль: «Да он же меня грабит. Раздевает, как труп врага на поле боя. И я ни убежать не могу, ни сопротивляться». Но тут бородач сказал:

— Какой, к бесу, перелом. Обыкновенный вывих. Сейчас вправим. Не бойся, я фельдшером раньше был. И не самым плохим.

От такого поворота событий Сабина совсем ошалела, хотела было сказать: «Лучше не надо, я „скорую“ вызову», но не успела, потому что в этот момент в ее ноге сконцентрировалась, надо думать, вся боль этого мира. Страшный, ослепительный, сияющий невыносимой белизной миг абсолютной боли, она даже закричать не смогла от потрясения, а когда все-таки открыла рот, никаких причин вопить уже не было — все закончилось. То есть закончилась только боль. А отставной фельдшер с сигарой, его тележка на колесиках, мусорный контей-



нер, заснеженная земля, бледные оранжевые фонари — все это осталось. И чертов перец, конечно же, остался — там, дома. И тля при нем.

— Давай вставай, — сказал Сабинин спаситель. Он каким-то образом успел снова ее обуть, только шнурки завязывать не стал. — Барышням нельзя долго на холодном сидеть.

И, не дождавшись никакой реакции, поднял Сабину с земли, за шиворот, как кошка котенка, и поставил на ноги. Она изготовилась было с воем рухнуть обратно, но сломанная нога вела себя совершенно как целая — твердо стояла на земле и даже почти не болела. Ныла слегка, но по сравнению с недавней болью это ощущение было, можно сказать, удовольствием.

— Как же так, — растерянно сказала Сабина. — Это, получается, вы меня спасли?

Мусорщик пыхнул сигарой, зачем-то вытер руки о розовый пуховик, буркнул:

— Много чего получается. Ты пока особо не прыгай. Иди домой, приложи к ноге холодное. Морозилка у тебя есть? Ну вот, лед держи весь вечер, пока спать не соберешься. Завтра утром и не вспомнишь, где болело.

— Спасибо, — сказала Сабина. Подумала, что еще можно сказать или сделать в такой ситуации, но не придумала ничего. Повторила: — Спасибо, — и, недоверчиво ступая на исцеленную ногу, поковыляла к дому.

— Эй, — окликнул ее спаситель, — это, наверное, твое? Ты на ней сидела.

Догнал, пыхнул сигарой, сунул в руки тонкую брошюру в бумажной обложке, отечески хлопнул по спине.

— Жизнь — очень страшная штука, — сказал он. — Но только с похмелья. Остальное преодолимо. Надо просто делать, что можешь. Ровно столько, сколько можешь. Даже когда не можешь почти ничего. Поняла?

Сабина растерянно кивнула, машинально сунула брошюру в карман и пошла дальше, удивляясь, что наступать на ногу совсем не больно, только немного страшно — вдруг сейчас ка-а-ак заболит! — но страх прошел даже раньше, чем она добралась до своего подъезда.

«Надо же было денег ему дать, — запоздало спохватилась она. — Хоть сколько-нибудь. Вот дура, не сообразила». Повернула назад, но во дворе уже было пусто, и возле мусорных баков ни души.

«Ладно, может, еще когда-нибудь его встречу, — подумала Сабина. — Он же, наверное, постоянно в одни и те же дворы ходит. Надо, что ли, всегда в кармане двадцать литов для него носить. Вот прямо сейчас и отложу, чтобы... Двадцать литов за чудесное спасение — это, конечно, невероятный идиотизм. Но надо сделать для него хоть что-то. Ровно столько, сколько можешь, да?»

Открыла дверь, оставила сумку в коридоре и, не разуваясь, устремилась к подоконнику — проверить, что с перцем. Тля, конечно, никуда не делась. С другой стороны, а на что она надеялась? Что чудесный мусорщик в розовом еще и тлю на расстоянии мистическим образом победил? Сабина вздохнула, побрела обратно в коридор,

чтобы раздеться. Стала снимать куртку, из кармана на пол полетела помойная брошюра, которую так настойчиво совал в руки бородатый спаситель. «С чего он вообще решил, что это моя книжка? — подумала Сабина. — И я тоже хороша, в дом зачем-то ее притащила».

Брезгливо, двумя пальцами подняла брошюру с пола, чтобы отнести в мусорное ведро, и только теперь увидела название: «Как помочь вашему саду». Вспомнила, что бородатый сказал: «Ты на ней сидела», — получается, поскользнулась на самой нужной в мире книжке, а потом на нее упала и сидела, как дура, не подозревая, что счастье совсем рядом, ну надо же, а!

Она хохотала так, что сползла на пол, прямо на мокрый от ботинок коврик, ноги не держали, и вывих тут был ни при чем, просто ослабла от смеха.

Кое-как успокоившись, опустошенная, окруженная дрожащим, гулким и звонким коконом, отгородившим ее от остального мира, Сабина принялась листать брошюру. Скверная газетная бумага, чудовищные иллюстрации, неумело, но душевно изображающие паразитов во всем их хтоническом разнообразии, а вот советы, похоже, дельные. Или нет? Ну, других всяко не будет. Ага, а вот и про тлю. «Посмотрим, что вы мне посоветуете», — вздохнула Сабина и принялась внимательно читать.

— Ну, положим, дегтярного мыла у меня нет, — бормотала она вслух. — И хозяйственного тоже — интересно, оно вообще еще есть в природе? И окурки я не коллекционирую — выходит, зря. Антиникотиновую кампа-

нию небось тля и развязала, чтобы перестали ее табаком травить... Зато чеснок у меня точно есть. Даже в магазин идти не придется. И что там еще? Как, только чеснок? Головку чеснока растереть и залить теплой водой? Ну ничего себе. Неужели поможет? Ладно, посмотрим.

Пять минут спустя Сабина сидела на кухне с противным мокрым ледяным компрессом на пострадавшей ноге и терзала на терке начищенный чеснок, которому не было видно конца. Иногда головка — это целых семнадцать мелких зубчиков, помоги мне боже.

Сабина ненавидела это занятие, даже яблоки и морковь никогда себе не терла, грызла так. Но тут уж расстаралась. Она бы сейчас не семнадцать — сто зубчиков натерла, если бы вдруг выяснилось, что это необходимо. Делать, что можешь, оказалось гораздо легче и приятнее, чем сидеть и думать, что не можешь сделать ничего.

«Сейчас залью эту дрянь водой, пару часов постоит, и начну протирать листья, — думала Сабина. — Аккуратно, один за другим. Ка-а-а-ак протру все — никому мало не покажется! А завтра еще раз, и потом еще — сколько понадобится. И тля передохнет, и все станет хорошо — с этим чертовым перцем и с Ежи тоже. Симпатическая магия, бред, ахиня и мракобесие. А все равно станет».

И, торжествующе улыбаясь, отправилась мыть терку.



## Улица Швенто Игното

Šv. Ignoto g.

### Четыре слога

По улице Швенто Игното идет маленькая женщина в синем льняном платье. Почти поравнявшись со мной, поднимает глаза и, охнув, прижимает правую руку к груди, а левой машинально поправляет челку.

— Митя? — беззвучно, одними губами спрашивает она.

Значит, Митя.

— Здравствуй, — говорю я.

— Митя, — повторяет маленькая женщина. Теперь уже вслух. — Ну надо же, а. Живой.

Силится улыбнуться, но губы кривятся, дрожат, как будто она сейчас заплачет.

Но не заплакала.

Ее зовут Ася.

— Ты же утонул, — неуверенно говорит она. — Четырнадцать лет назад. Андрей писал, с которым вы вместе ездили... Нет?

— Да нет, конечно, — говорю. — Сама же видишь.

— Ну слушай! — выдыхает маленькая Ася. И почти возмущенно повторяет: — Ну слушай! Как же так, а? Я, конечно, на похороны не ходила, я же тогда в Питере была... Ай, ладно, в Питере, не в Питере, все равно бы не пошла, сам знаешь.

— Знаю, — говорю я. — Ты на меня очень сердишься?

— Сержусь? — Задумалась, помотала головой. — Нет, что ты, совсем не сержусь. Я сейчас просто рада, что ты живой... Слушай, у тебя время есть? Пять минут? А сигареты? Давай сядем покурим, ладно? Ты еще куришь? Не бросил? Сейчас стало модно бросать. Может, и правильно, все-таки очень вредно...

Про себя огрызаюсь: «Утопленникам не вредно», — но вслух не говорю. Асе такие шутки не нравятся. Вместо ответа достаю из кармана серебряный портсигар, открываю, подаю ей. У меня крупные загорелые руки с ухоженными ногтями. Левая почти безупречно красива, правую портит слишком короткий кривой мизинец. Разглядываю их с интересом. Я никогда не вижу своего лица, на улице Швенто Игното нет зеркальных витрин, и это, наверное, к лучшему. А все-таки порой меня терзает любопытство, и тогда я напоминаю себе, что руки — это тоже очень много.

Действительно, немало. Но на Митино лицо я бы сейчас с удовольствием поглядел.

Ася берет сигарету, руки ее едва заметно дрожат.

— Объясни, — требовательно говорит она. — Объясни, откуда тогда взялась эта дурацкая информация. Ну, что ты утонул. Андрей что, с ума сошел — так шутить? И куда ты потом пропал? Сюда переехал?

— Не сюда, — говорю. — В Германию. Здесь я проездом, на полдня буквально.

— Ну надо же, — вздыхает Ася. — И я тоже. На выходные приехала. Очень удобно, поезд всего ночь идет, как раз выспаться можно и потом весь день гулять... И все равно мы тут встретились. Просто чудо какое-то... Нет, Митенька, слушай, так не пойдет. Стоим, болтаем о ерунде. Ты мне сначала все-таки скажи, почему тогда Андрей?..

— Я его попросил, — говорю. — Если бы он слух не пустил, похороны были бы самые настоящие, и месяца не прошло бы. На меня тогда чужие долги повесили. Одно хорошо: у меня же не было ни жены, ни детей, родители и братья давным-давно в Канаде, их за жопу особо не возьмешь... Короче. Не хочу об этом говорить. Сбежал, и слава богу. Дело давнее. Но ты, кстати, все равно особо не болтай. Береженого Бог бережет.

— Не буду болтать, — растерянно бормочет Ася. — Да и рассказывать особо некому — кто тебя знал, разъехались все, или просто не видимся... Да, слушай, про твои долги я ничего не знала. Это многое объясняет. Но как же похороны? Васька клялся, что ходил. Пил он тогда, конечно, страшно... И да, это тоже многое объяс-

няет, а мы-то все хороши, нашли, кого слушать. Купились, как дети малые.

Главное — поменьше говорить. И тогда собеседник сам придумает способ все себе рационально объяснить. По крайней мере, я до сих пор не встречал такого, кто бы не справился. Люди — очень талантливые. Очень.

— Короче. Главное, что ты жив, все остальное херня, — устало говорит Ася. И кашляет, поперхнувшись не то дымом, не то воспоминаниями, которые пришло время разворошить.

— Ты меня прости, пожалуйста, — говорю я, дождавшись, пока она откашляется. — Я же просто пьяный тогда был. С утра квасить начал. Другой бы давно под столом валялся, а я просто соображать перестал. Вот тебе и все объяснение.

— Да уж, — вздыхает Ася. — Представляешь, я же все эти годы голову ломала: зачем ты вдруг стал рассказывать целой куче народу, будто у меня на заднице гигантская бородавка? Какой в этом был смысл?.. А мне, между прочим, Томас тогда очень нравился. Помнишь его? Такой красивый был эстонец. И с меня глаз не сводил — до твоего блистательного выступления. А потом как отрезало. Думаю, эта дурацкая вымышленная бородавка стояла у него перед внутренним взором как живая. Как будто он сам ее видел. Небось до сих пор вспоминает —



если, конечно, вообще вспоминает хоть что-то: «И еще там была такая девушка Ася, сама маленькая, а бородавка на жопе огромная, такая шутка природы». Какого цвета у меня глаза, забыл давным-давно, а бородавку помнит, так уж человеческая память устроена, я сама обо всех такие глупости помню, хотя мне вроде бы неинтересно и вообще не хочу думать плохое... Слушай, ну вот хоть сейчас объясни: зачем?

Покаянно вздыхаю:

— Да низачем. Совершенно бессмысленная выходка. Говорю же, просто выпил больше, чем надо. И злился на тебя за что-то. Из-за какой-то ерунды. Может, кстати, как раз из-за Томаса, как ты на него смотрела. А может, нет. Правда, не помню. Я тогда все время на тебя злился. Хотя сам предложил разбежаться, а ты согласилась. Но как-то слишком легко согласилась. Как будто только этого и ждала.

— Ну, в общем, да, — кивает Ася. — С самого начала думала, что лучше бы мы были просто друзьями. И надеялась, что еще станем... Ай, неважно. Совершенно неважно. Спасибо, что рассказал. Теперь хоть как-то понятно.

— Прости меня, пожалуйста, — говорю я. — Мне очень стыдно потом было. Я бы извинился, я очень хотел, но не знал, как к тебе подступиться. Ты же меня видеть не могла.

— Ну да, конечно не могла, а как ты думал. Это вообще нормально — хотеть видеть человека, который зачем-то всем наврал, что у тебя на жопе бородавка?..

— Ну хоть теперь извинился, — вздыхаю. — Лучше поздно, чем никогда.

— Лучше — не то слово, — серьезно соглашается Ася. — Ох, Митька, как же хорошо, что ты живой и мы встретились! — И, помолчав, неожиданно добавляет: — Ты меня, пожалуйста, прости.

— Тебя-то за что?

— За то, что от тебя ничего не осталось, кроме этой идиотской придуманной бородавки.

— Ну что ты, — улыбаюсь я. — Смотри, сколько осталось! Я бы, пожалуй, предпочел, чтобы от меня осталось кило на десять меньше, например.

— В моей памяти — почти ничего, — тихо говорит Ася. — Ну, еще имя. Митя. И все. Вот ты утонул, да? Ну, то есть Андрюшка сказал, что утонул, и все поверили. И я тоже. Причем у меня до этого никто никогда не умирал. Я имею в виду, вообще никто из родных и знакомых, а тут вдруг — ты. Очень важный для меня человек, по идее. И я все время думала, надо что-то почувствовать. Осознать потерю. Пожалеть, что тебя больше нет. Поплакать, что ли... Как бы я на тебя ни злилась, а все равно, что было — было. Крым у нас с тобой был, например. Лучший август в моей жизни, до сих пор — веришь, нет? И в Таллин мы вместе автостопом ездили. Как же здорово тогда все складывалось, до сих пор удивляюсь. А как мы сидели зимой с атласом мира и сочиняли идиотские стишки про разные страны: «В это княжество Монако не любая влезет срака». Ржали, как

укуренные, а ведь даже пива не пили, только чай... И еще, помнишь, однажды мы гуляли ночью, и вдруг — хлоп! — туман. Такой густой-густой. И луна оранжевая, огромная, как будто падает на землю, и уже чуть ли не полпути пролетела, и ты мне объяснял, что такого быть не может, никуда луна не падает и никогда не упадет, невозможная антинаучная ерунда, а у самого руки дрожали, я же помню. То есть сейчас помню. А раньше, все эти годы — не помнила. То есть нет, не провалы в памяти, не амнезия какая-нибудь, а просто условный рефлекс. Вот скажет кто-то: «Митя», или просто мимо твоего дома пройду, и сразу всплывает: «Зачем он тогда наврал про бородавку?» А больше ничего о тебе не думаю и не чувствую ничего. Такая оказалась злопамятная, сама не ожидала... Понимаешь, если бы ты на самом деле умер и мы бы не встретились, ты так и остался бы в моей памяти человеком-бородавкой, дураком, зачем-то навравшим про бородавку, которая оказалась сильнее смерти и, получается, сильнее жизни. Той ее части, которая была наша общая жизнь. И ты, пожалуйста, прости меня за это, потому что так — нельзя. Какие бы глупости мы все ни делали, так — нельзя. Господи, Митька, как же хорошо, что мы встретились!

Ася наконец-то расплакалась.

А я сижу рядом и ничего не говорю. Что тут скажешь.

— Теперь, — немного успокоившись, говорит Ася, — опять все в порядке. Я все помню. И все чувствую. И бородавка, которую ты когда-то сдуру выдумал, заняла положенное ей место. То есть на заднице. Больше не заслоняет тебя и весь мир. Прости, что расхлупалась. Это от облегчения. Честно.

А вот теперь пора прощаться. Важный момент. Прощаться надо красиво. Не вообще, не абстрактно красиво, а чтобы Асе понравилось.

Приблизив губы к ее уху, шепотом, немного нараспев читаю:

Сверни с проезжей части в полу-  
слепой проулок и, войдя  
в костел, пустой об эту пору,  
сядь на скамью и, погода,  
в ушную раковину Бога,  
закрытую для шума дня,  
шепни всего четыре слога:  
— Прости меня\*.

Ася удивленно качает головой:

— Надо же. А раньше ты не любил Бродского. Помнишь, как мы из-за него ругались?

---

\* Иосиф Бродский. Седьмая часть «Литовского дивертисмента» (1971).

— Мало ли, что было раньше, — улыбаюсь я. — Кстати, он это здесь написал.

— Где — здесь? — оживляется Ася. — Вот прямо на этой улице?

— Ну, не то чтобы прямо на улице. В костеле Святого Духа. Сюда выходит его задний фасад — вот, видишь? И лаз в знаменитый подземный лабиринт\* вроде тоже где-то здесь, но искать не советую. Заблудишься, перепачкаешься и платье, чего доброго, порвешь. К тому же у местных призраков, говорят, сильно испортился характер после того, как любопытные студенты повадились лазать туда на экскурсии и растаскивать черепа на сувениры\*\*. А вход в костел с улицы Доминикону, вон там, за углом. Зайди обязательно. Там купол изнутри такой странной неправильной формы, сама увидишь. «Ушная раковина Бога» — это он и есть.

---

\* Под костелом Святого Духа расположены девять подвалов, образующих подземный лабиринт, овеянный слухами и легендами. В XVI–XVII веках там хоронили монахов примыкавшего к храму Доминиканского монастыря и знатных жителей города. Там же хоронили умерших во время эпидемий холеры и чумы. Особенности микроклимата (постоянная температура и сухой воздух) подземелий способствовали тому, что трупы не разлагались, а мумифицировались.

\*\* Речь, вероятно, о студентах Университета Стефана Батория, объединенных в клуб «Влучендзы» («Бродяги»), которые действительно исследовали подземелья под костелом Святого Духа в середине тридцатых годов XX века. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что массовые хищения костей и черепов имели место гораздо позже, уже в шестидесятые годы, когда были организованы экскурсии в подземелья; к счастью, их почти сразу прекратили.

— Ты это все прямо сейчас придумал? — оживляется Ася.

— Ну что ты. Вычитал где-то\*. Честно. Так что ты обязательно туда зайди, Асенька. А мне надо бежать.

— Вот прямо сейчас? — растерянно спрашивает она.

— Еще четверть часа назад надо было. Меня друзья в машине ждут, матерят страшно, потому что нам еще ехать и ехать, до самого Гданьска. Представляешь, как далеко?

И, не дав ей опомниться, разворачиваю ее лицом к улице Доминикону и слегка подталкиваю вперед — не рукой, а порывом ветра. Как будто она сама решила, что пора уходить, обрывать разговор на высокой ноте, не портить чудесную нечаянную встречу суетливыми проводами до угла и обменом телефонными номерами, и ветер одобрил это решение — добрый знак. Ася всегда придавала значение подобным глупостям.

И она совершенно права.

Когда Ася остановится на углу и обернется, чтобы помахать мне на прощание, меня уже не будет, и она решит, что я успел свернуть в какой-нибудь проходной двор, чтобы сократить путь.

Будем считать, так оно и было.

---

\* Вычитать про «ушную раковину Бога» можно было, к примеру, в статьях о Бродском Томаса Венцловы.



По улице Швенто Игното идет высокий загорелый старик с коротко стриженными белоснежными волосами и густыми угольно-черными бровями. На нем белые льняные штаны и ярко-красная куртка, рядом на поводке семенит крошечный йоркширский терьер. Почти поравнявшись со мной, старик поднимает глаза и, охнув, прижимает ко рту руку с поводком. Возмущенная его небрежностью собачка пронзительно тявкает.

— Расоля, — говорит старик. — Расоля, птичка моя, откуда ты здесь взялась?

— Считаю, что с неба свалилась, — кокетливо улыбаюсь я и протягиваю для поцелуя маленькую узкую руку, обтянутую шелковой летней перчаткой.

# Улица Швенто Йоно

Šv. Jono g.



## Фонарщик

Я говорю:

— Мне всегда мало того, что есть.

Лорета говорит:

— Цок-цок-цок.

То есть Лорета сейчас не говорит ничего, а просто идет рядом, тонкая и темная, как дополнительная тень, стучит по тротуару невысокими, но звонкими каблучками.

Я говорю:

— Мне вечно недостает того, чего нет и быть не может. Всего несбыточного и невозможного сразу. И одновременно каждой малейшей детали его. И даже не то чтобы именно мне. Как будто внутри меня жадная, вечно голодная черная дыра. И ей нейдет. А мне поневоле приходится разделять ее чувства, потому что она все-таки не где-то далеко, а именно во мне. У черной дыры есть удобноеместилище — я. А у меня — ее неудобный голод. Такой нелепый симбиоз.

— Цок-цок-цок-цок-цок, — сочувственно отвечает моя тень. То есть Лорета.

Я говорю:

— И в то же время всего того, что есть, мне, получается, толком и не надо. То есть, конечно, если уж оно все равно есть — ладно, пусть будет. Беру. Отнимут — огорчусь. Сколько раз что-то терял, всегда огорчился. Но, знаешь, как-то не серьезно. Глубоко не задевало. Даже когда мама умерла. Может быть, потому, что никакой глубины во мне вовсе нет. Вместо глубины у меня голодная черная дыра, алчущая только того, чего быть не может и, следовательно, никогда не будет. И я так занят ее проблемами, что на собственные, знаешь, как-то не остается ни сил, ни внимания. Когда приходит беда, оно даже к лучшему, но в последнее время в жизни моей не сказать чтобы много бед. Сплошные радости, вернее, то, что могло бы стать радостью, если бы я умел ее ощутить. Но нет. Я этак, знаешь, деловито про себя отмечаю — о, сейчас есть веский повод обрадоваться — и все. У меня дыра, у дыры голод, мы заняты, дорогой реальный мир, завари нам чаю, положи в буфет пирожки, а теперь, пожалуйста, закрой дверь с той стороны, оставь нас в покое.

Лорета говорит:

— Ну, например?

И я вздрагиваю, потому что уже привык считать ее своей дополнительной тенью. Глупо с моей стороны, какая же она тень. Высокая, румяная теплокровная девица, просто в длинном черном пальто с капюшоном. Кто угодно такое может надеть.

Я переспрашиваю:

— Что именно — «например»?

Лорета говорит:

— «То, чего быть не может» — это слишком абстрактно. Чего именно ты все-таки хочешь? Ладно, не ты, дыра. Что ей нужно? Вот прямо сейчас? Приведи хоть один пример.

Я отвечаю:

— Да говорю же, абсолютно все, чего не может быть. Без разницы.

Но тут же понимаю, что это не пример. А еще одна абстракция. Лорета — хорошая тень, вон как каблуками цокает, еще и разговор способна поддержать, ни у кого больше такой тени нет. Ради нее следует постараться.

И я говорю:

— Прямо сейчас? Ну, например, вспомнить, что мое детство прошло здесь, в Вильнюсе. Вообще-то, у меня и так было очень счастливое детство — если объективно рассматривать факты. Любящие родители, куча игрушек, одних конструкторов пара десятков. Собака Рекс, большая и лохматая. Огромный двор, заросший сиренью и жасмином, где мне разрешали гулять допоздна. И асфальтовые дорожки, чтобы кататься на роликах, — они в мое время смешные были, с колесами в два ряда... И холм, чтобы кататься на санках, когда выпадет снег. И мультфильмы по воскресеньям в Доме офицеров, я за семь, что ли, лет ни единого сеанса не пропустил. И никто меня не обижал — ни дома, ни во дворе, ни позже, в школе. Ну, дрались иногда с другими мальчишками, но это было даже весело. Не драма, а важная составляющая дворовой дружбы. И кстати о школе, первая учитель-

ница у меня была просто чудесная, Вера Викторовна, надо же, до сих пор помню, как ее звали. Да и остальные учителя — грех жаловаться. Повезло. Ну, то есть практически идеальное детство, как в скучной книжке для младшего школьного возраста, понимаешь? И по идее, я должен часто с наслаждением его вспоминать. Испытывать радость и благодарность. Но я, честно говоря, вообще ни хрена в связи с этим не испытываю, только теоретически понимаю, что все было очень хорошо. Зато иду вот сейчас с тобой по Вильнюсу, по улице Святого Иоанна, и люто тоскую оттого, что мое детство прошло не здесь. И я, хоть убей, не вспомню, как бежал по Швенто Йоно наперегонки с мальчишками из класса, упал, споткнувшись, разбил коленку, но штаны не порвал, а это главное. А потом мы купили мороженое, две порции на троих, на больше денег не хватило, делили его на ходу, я у каждого по очереди откусывал и съел в итоге больше всех. А когда вернулся домой, бабушка жарила рыбу, запах стоял на весь двор, и я залез к ней в кухню прямо через окно, потому что квартира была на первом этаже, и какой смысл входить через дверь, если окно открыто... Ничего подобного я, конечно, не вспомню, хоть лоб о тротуар расшиби. Потому что — не было. И уже никогда не будет. Поселиться здесь и жить сколько пожелаю — это я, конечно, могу. Теоретически. Но вырасти на этих улицах — нет, невозможно, потому что я *уже* вырос в другом городе, на других улицах, что сделано, то сделано, проехали. И учти, при этом я вовсе не думаю, будто провести детство в Вильнюсе — это что-то особенное.

Наоборот, совершенно точно знаю, что нет. Ну, то есть все зависит от семьи — любят ли друг друга, о чем разговаривают по вечерам, что тебе разрешают, а что запрещают. Чему учат, какие рассказывают сказки и покупают игрушки. И от того, что у тебя за двор. И в какую школу отдадут, и как сложится с одноклассниками. В сумме вполне может получиться что-то особенное, но это верно для любого города, Вильнюс тут ни при чем. Понимаешь?

Лорета говорит:

— Конечно понимаю. Продолжай.

Такая хорошая. Лучшее, что я мог бы сделать сейчас, — это взять да и влюбиться в Лорету, не сходя с места. Прекрасно провел бы несколько ближайших месяцев, причем совершенно вне зависимости от исхода дела, даже самая безнадежная страсть по сравнению с моим вечным неутолимным голодом по несбывшемуся — санаторный режим. Но дыра во мне услужливо подсказывает: влюбиться в Лорету — это было бы слишком просто. Давай лучше, вкрадчиво предлагает дыра, теперь ты будешь тосковать еще и оттого, что эта прекрасная тень в длинном черном пальто с капюшоном никогда не была твоей сестренкой и ни за что ею не станет, даже если очень захочет. Потому что она *уже* родилась в другой семье и давным-давно выросла, а этого, сам знаешь, не изменить.

Но об этом я Лорете, конечно, не скажу ни слова. А просто продолжу с того места, где остановился:

— То есть, теоретически, я прекрасно понимаю, что вырасти именно здесь — не бог весть какая удача. Но

это не имеет значения, потому что черная дыра во мне ноет, зудит и скрежещет зубами от голода. Подай ей детство, проведенное в Вильнюсе, и точка. Причем только потому, что это невозможно. Точно так же она будет ныть и зудеть от невозможности провести детство в Лондоне, Пекине или Тбилиси. Или в Анно. Это, знаешь, такой городок во Франции. В Провансе. Я и был-то там проездом, пересаживался с поезда на автобус, потом пялился в окно — все две минуты, пока мы по Анно ехали. Городок как городок, крошечный, захолустный, красивый конечно, в Провансе других не бывает. Но ничего из ряда вон выходящего. И какой же лютый голод меня там грыз при мысли, что я никогда не бегал босиком по этим полынным обочинам, размахивая ивовым прутом, с лакричной тянучкой за щекой. Хотя, казалось бы, невелико удовольствие. А теперь тут, в Вильнюсе, то же самое — вынь да подай мне здешнее детство. И везде так. Вот тебе мое «например».

Лорета говорит:

— А вот и Фонарщик.

От неожиданности я останавливаюсь и переспрашиваю:

— Кто?

— Фонарщик, — повторяет Лорета.

— Где?

— Здесь.

Я стою, верчу головой, не могу понять, куда именно следует смотреть. Что за Фонарщик? Где он?

Наконец до меня доходит, что Лорета имеет в виду уличную скульптуру. Высокий узкий постамент, на постаменте обломок лестницы, по лестнице взбирается мелкий лысый мужик в балахоне до колен. Руки воздел к небу, пальцы растопырил, однако никакого фонаря при нем нет.

Я спрашиваю:

— Почему — Фонарщик?

Лорета говорит:

— Ну как это — «почему»? Да хотя бы потому, что всего две сотни лет назад не было в городе профессии важнее. Пока не появились фонарщики, Вильна по вечерам становилась темной, неприглядной, страшной, как сон совестливого убийцы, а по улицам скитались тонкие, дрожащие тени с фонарями в руках — горожанам было предписано всюду таскать их за собой. И не дай бог выйти вечером на улицу без фонаря! Штрафовали за это люто. А потом в городе поставили фонарные столбы, наняли фонарщиков, чтобы зажигали свет после заката, следили за ним всю ночь, подливали масла, подкручивали фитили, гасили под утро. И жизнь стала по-немногу налаживаться. Уже, считай, практически наладилась. Кому и ставить памятник в самом сердце Старого города, если не фонарщику.

Я говорю:

— Да погоди ты. Фонарщики круты, кто же спорит. И памятники им пусть хоть на каждом углу ставят, я не против. Но из чего следует, что этот дядя — именно фонарщик? Где его фонарь?

Лорета говорит:

— Фонарь у него, надо понимать, невидимый. Несуществующий. Совершенно невозможный, несбыточный фонарь. Наверное, специально для того, чтобы ты его захотел.

Она смеется, а я и правда уже хочу, чтобы у этого Фонарщика был фонарь. Хочу — не то слово. Отсутствие фонаря причиняет мне почти физическое страдание.

Я спрашиваю:

— Слушай, неужели до сих пор никто ни разу не пытался всучить ему фонарь? По-моему, на руку как раз прицепится. И залезть туда — раз плюнуть.

Лорета хмурится, вспоминая. Говорит:

— А знаешь, не припомню такого. Вот банка с пивом регулярно у него в руке появляется. Студенты угощают. Потому что залезть и правда несложно. Я и сама пару раз, когда в университете училась... Но все-таки чаще внизу на стреме стояла, пока наши мальчики его подпаивали.

Я говорю:

— Ну вы даете. Что пива для заскучавшей скульптуры не жалко — это, конечно, хорошо. Добрые детки. Но неужели никто ни разу не сообразил, что Фонарщику нужен фонарь?

Лорета говорит:

— Ну почему же. Это первым делом в голову приходит. Просто, видишь ли, фонаря никогда нет под рукой. А пиво, напротив, почти всегда есть. Вот и приходится бедняге довольствоваться малым.

Я говорю:

— Знаешь что? Сейчас мы с тобой это исправим. Если, конечно, ты мне подскажешь, где в это время суток можно купить фонарь.

Лорета глядит на меня, как на диковинную зверушку. С некоторой опаской, удивленно и заинтересованно. Наконец говорит:

— Уже половина одиннадцатого. Следовательно, только в круглосуточной «Максиме». Это минут пятнадцать, не меньше, да и то если очень быстро идти. И все время в гору, учти.

Я говорю:

— Ничего. В гору так в гору. Дорогу покажешь?

Я говорю:

— Ничего себе — «пятнадцать минут». А уже скоро полночь. Пока ходили туда-обратно, почти полтора часа прошло.

Лорета говорит:

— Ну так ты сам фонарь долго выбирал. И свечки. Хотя они все одинаковые.

Я говорю:

— Какие же одинаковые? С запахом яблока, с запахом лаванды, ванили, клубники, мандарина и чуть ли не огурца.

Лорета говорит:

— Не было там никакого огурца. Не выдумывай. И все они, по большому счету, пахнут одним и тем же дешевым мылом.

Я говорю:

— Все равно трудно выбрать. Если бы ты не подсказала, что рядом лежат простые свечи, без запаха, я бы, наверное, до сих пор определялся.

Лорета говорит:

— Вот именно.

И умолкает надолго. Идет рядом, цокает каблуками, тонкая, темная, самая лучшая в мире тень, моя несбывшаяся сестра. И вдруг спрашивает:

— Ты будешь счастлив? Ну, когда повесишь фонарь на руку Фонарщика?

Я молчу. Думаю — как ей объяснить? Наконец честно отвечаю:

— Конечно нет. Когда фонарь будет на месте, я тут же почувствую себя идиотом, который испортил хорошую прогулку — в первую очередь тебе. Поташил в супермаркет вместо кафе — ай молодец, нечего сказать. И все для того, чтобы купить и повесить этот дурацкий фонарь — тоже мне, великое деяние. И голод мой, конечно, никуда не денется. Уже слезая, я снова буду думать о том, что никогда не смогу вырасти в Вильнюсе, разве что остаться и состариться тут. Неплохой вариант, кто бы спорил. И вполне возможный. А возможное меня не интересует. Поэтому я, конечно же, не буду счастлив, когда повешу этот чертов фонарь. Но это не страшно. Я привык.

Лорета спрашивает:

— Но тогда зачем?

Я говорю:

— Да затем, что я почти счастлив вот прямо сейчас, пока мы идем по городу с дурацким фонарем и пачкой



свечей, с несгибаемым намерением сделать глупость, которую — я сейчас совершенно уверен — никто никогда не делал до нас. Это не то чтобы вовсе невозможно, но, знаешь, почти. С учетом того, как давно я в последний раз совершал абсурдные, бессмысленные поступки, которые, конечно же, бесповоротно изменяют весь мир, но изменения эти настолько незначительны, что их не могу заметить даже я сам.

Лорета говорит:

— Пришли.

Я уже и сам вижу — вот он, Фонарщик без фонаря. Ничего, недолго ему осталось стоять враскоряку с пустыми руками. Сейчас я это исправлю.

Я говорю:

— Придется тебе еще раз постоять на стреме. Неловко получится, если полицейские города Вильнюса будут вынуждены провести эту ночь, снимая с постаментов полоумного туриста.

Лорета говорит:

— Если наши полицейские застукают тебя за этим занятием, они, скорее всего, вежливо поинтересуются, сможешь ли ты слезть без посторонней помощи. И уверен ли, что не переломаешь при этом руки-ноги. И, услышав положительный ответ, пойдут себе дальше.

Я говорю:

— Идея осесть в этом городе и встретить тут старость начинает казаться мне все более разумной.

Я достаю из пачки свечку, из кармана — зажигалку, из пакета — фонарь. Сажусь на корточки у стены, чиркаю

зажигалкой, стараясь заслонить новорожденное пламя от студеного осеннего ветра, с третьей, как положено в сказках, попытки зажигаю свечу и помещаю ее в фонарь. Уфф, все. Теперь не задует.

Лорета говорит:

— Давай я пока подержу. Залезешь — отдам.

Я киваю, отдаю ей фонарь и лезу на постамент. Это не так просто, как мне сперва показалось, слишком уж он гладкий, и лучше бы мне, конечно, быть сейчас в кроссовках, а не в этих щегольских штиблетах с почти негнущимися скользкими подметками. Но все же не настолько сложно, чтобы отказаться от затеи.

И вот я сижу на самом верху, обнимая Фонарщика. Он еще меньше, чем казался снизу, даже сидящему мне едва достает до плеча. Лорета пляшет на цыпочках, пытаюсь поднять фонарь как можно выше, я тянусь за ним, стараясь не потерять равновесие и не свалиться, наконец хватаю холодную металлическую ручку, и в этот миг, повиснув практически вниз головой в неудобной позе, еще более нелепой, чем у бедняги Фонарщика, с его надежной бронзовой лодыжкой в одной руке и хлипким декоративным фонарем в другой, я совершенно, безоговорочно, без единой задней мысли счастлив. Ничего не хочу, кроме возможности продолжать быть — здесь, сейчас, остальное неважно. Игра, получается, стоила полусотни свеч — всей купленной в супермаркете пачки.

Лорета — там, бесконечно далеко внизу, — говорит:

— Вешай уже давай! И слезай.



От ее голоса я прихожу в себя, вспоминаю, зачем я здесь, вручаю фонарь Фонарщику, и растопыренные пальцы его левой руки сжимаются, чтобы поудобнее перехватить ношу.

Я говорю ему:

— Ага. Так и думал.

Повисаю на руках и спрыгиваю — не так уж высок постамент. Залезать было трудно, зато вниз — проще простого. Но все-таки, не удержавшись на ногах, падаю на четвереньки и тут же вскакиваю. Вроде не больно ушибся. Колено чуть-чуть саднит, но это ерунда.

Лорета озабоченно спрашивает:

— Штаны не порвал?

Я говорю:

— Да вроде нет.

Лорета говорит:

— Это главное.

Беру у нее свой портфель, и мы быстро-быстро бежим вниз по улице Швенто Йоно. Мы очень спешим. До нашего двора отсюда еще целых шесть кварталов, а уже совсем стемнело.

Наше кухонное окно нараспашку, и на весь двор пахнет жареной рыбой — это бабушка готовит ужин. Я кладу портфель на подоконник, подтянувшись на руках, залезаю туда сам и протягиваю руку сестре. Глупо заходить через дверь, когда открыто окно.

Бабушка говорит:

— Где вас опять черти носили?

Мы с Лоретой сидим на подоконнике, одной ногой уже в доме, другой еще на улице, и смеемся.

*Литературно-художественное издание*

МАКС ФРАЙ

СКАЗКИ СТАРОГО ВИЛЬНЮСА

Том 1

Издатель Макс Фрай

Ответственный редактор *Елена Суворова*  
Художественный редактор *Александр Яковлев*  
Технический редактор *Елена Грач*  
Корректор *Екатерина Волкова*  
Верстка *Максима Залиева*

Подписано в печать 19.03.2012.  
Формат издания 60×90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 24,0. Тираж 11 000 экз.  
Изд. № 12050. Заказ № .

Издательство «Амфора».  
Торгово-издательский дом «Амфора».  
197110, Санкт-Петербург,  
наб. Адмирала Лазарева, д. 20, литера А.  
www.amphora.ru, e-mail: secret@amphora.ru

Отпечатано в соответствии  
с предоставленными материалами  
в ЗАО «ИПК Парето-Принт», г. Тверь.  
www.pareto-print.ru